

Александр Валентинович Амфитеатров

Княжна



Александр Амфитеатров

Княжна

«Public Domain»

1896

Амфитеатров А. В.

Княжна / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1896

«На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстной полосой дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, – Радунское то же, – отчина и дедина князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Дмитрия Донского: первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу...»

© Амфитеатров А. В., 1896

© Public Domain, 1896

Содержание

От автора	5
Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Александр Амфитеатров

Княжна

Старому товарищу

Владимиру Алексеевичу Тихонову,

в память многих лет хорошей дружбы, посвящаю этот том.

Александр Амфитеатров

Марта, 15/2, 1910

Cavi di Lavagna

От автора

В составе хроники «Княжна» включен целый ряд относящихся к ней предварительных этюдов, печатавшихся в разных изданиях, с 1889 по 1905 год. Как-то: «Последыш» («Новое обозрение», 1889), «Из терема на волю» («Наблюдатель», 1896), «Село Радунское» («Неделя», 1899). Второй и третий из этих этюдов послужили мне также материалом для драмы «Чертушка», написанной в 1901 году, но на сцену попавшей, освободясь из-под цензурного запрета, только в 1907.

Ал. А.

1910. III. 15

Cavi di Lavagna

Часть первая Чертушка на Унже

I

На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстной полосой дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, – Радунское то же, – отчина и дедина князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Дмитрия Донского: первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу. Артамон Радунский, воевода Бориса Годунова, передался с Басмановым названному Дмитрию. Ивашка – главарь стрелецкого бунта, ярый защитник старой веры и сторонник царевны Софьи Алексеевны – умер под пытками в Преображенском застенке, на дыбе у князя-кесаря Ромодановского. Все Радунские – по истории и семейным преданиям – отличались распутством, дерзким нравом и непобедимым упрямством, но у большинства наследственные пороки в значительной степени искупались талантливостью, воистину, на все руки. Между Радунскими насчитывалось немало доблестных воинов, хитрых дипломатов, но – главное – «случайных людей» и ловких придворных интриганов. В дворцовых смутах XVIII века они вертелись преискусно, всегда держались торжествующей стороны и вовремя отступались от нее, чуть пошатнется. Меншикову изменили для Долгоруких, верховников предали, купленные «Анной, нам Богом данной», с Волынским рассорились аккуратно кстати, чтобы попасть в милость к Бирону; вместе с Бестужевым «поступили, как римляне», возведя курляндского конюха в регенты Российской империи, и первые бросились во дворец, чтобы припасть к стопам Анны Леопольдовны, как скоро Миних и Манштейн скрутили Бирона. Неистово ругали Радунские побежденную «курляндскую собаку» и со слезами умиления клялись в верности младенцу-императору Ивану Антоновичу, а между тем в карманах у них уже позвякивало золото де ла Шетарди и шуршали векселя Лестока, – французский задаток за русскую царевну, дары «дщери Петровой», первая плата за близкий «Лизанькин переворот». В «Петербургском действе» 1761 года Радунские впервые сплеховали. От Петра Федоровича они, конечно, отстали, но поздно; Екатерину Алексеевну, конечно, поддержали, но мешкотно, – и оказались ни в сех, ни в тех. Между ними и милостями царицы-победительницы стеною стали широкие спины богатырей Орловых. Они, в качестве людей новых, Радунских терпеть не могли и зорко следили, чтобы не подпустить близко к трону этот боярский род древних кровей с его старомосковскою надменностью и византийским холопством, славянскою распущенностью и азиатским коварством – род свирепый, безжалостный, бессовестный, предательский, продажный, неблагодарный. И вот мало-помалу Радунских, как людей неуживчивых и «несносных шпыней», оттерли от двора соперники, может быть, менее их знатные и даровитые, но с большим житейским и политическим тактом. С тех пор род Радунских стал падать и, не захудав богатством, захудал почетом и влиянием. Радунские не славились ни плодовитостью, ни долголетием. Во всей семейной истории значился только один брак, благословенный четырьмя сыновьями: в елизаветинскую пору лейб-компанец Федот Никитич, князь Радунский, взял за себя ее императорского величества камер-юнгферу, девицу Елизавету Шишлову из смоленских дворянок. Но и из четырех сыновей от этого брака двое умерли в московскую чуму, а выжившие, Никита и Роман, в погоне за «случаем», стали друг к другу в самые враждебные отношения; в обществе их звали Этеоклом и Полиником. Потемкин, по дальнему родству с матерью Радунских, Шишловой,

имел кое-какие сношения с враждующими братьями и, зная их честолюбие и способности, обоим терпеть не мог, обоим считал вредными и опасными. Он дипломатически ласкал и того и другого, но держал их между собою на ножах: науськивал Никиту против Романа, а Романа против Никиты. В 1785 году Никиту проткнул на дуэли шпагою проезжий авантюрист – французский виконт Аль-сид де ла Нейж Руж, – и общий голос обвинил Романа в смерти брата, которому будто бы пришлось драться не в честном бою, но с нарочно выписанным из Парижа знаменитым бретером по профессии. Виконта выслали за границу, а князя Романа Федотовича, под благовидным предлогом, убрали из Петербурга – с поручением чинить розыск по раскольничьим делам в костромских и ярославских местах, где, кстати, у Радунских были имения. Князь Роман-человек дикий нравом, но по-своему, тогдашнему, дворянскому, честный, молодой, горячий, к тому же немного вольнодумец, воспитанный на французских идеях о свободе совести, почитавший Вольтера и энциклопедистов, – пришел в ужас от чиновничьего произвола, мошенничества и взяток. Взятся он исправлять нравы и, для первого начала, пригласив к себе местный уездный суд *in cogrore*¹ обедать в Волкояр, – *in cogrore* же высек гостей на конюшне. А когда история огласилась и приехал губернатор с запросом о ней, то князь Роман Федотович не постеснялся разложить и губернатора. Только не на конюшне, а, на сей токмо раз, чин почитая и сана для, в саду – в Венерином гроте, который с тех пор прослыл у волкоярцев под менее громким, но более выразительным названием «Поротого места». Легенда гласит, что высеченный губернатор жаловался царице, но премудрая Фелица положила будто бы на жалобу его такую резолюцию: «Что Радунские все от рождения умовредны и имеют дух ко раздражению склонный, о том известно давно, чего ради не Радунского виновным числю, но себя, зачем послала бешеного на официю, спокойствия требующую. Радунского от должности его отрешить, с декларацией к сему совершенного моего недовольства, а сказать ему жить в дальних его деревнях, которое поместье изберет и пожелает, а в столицы въезда не иметь и ко двору не бывать. Губернатору же объявить: не о том сожалею, что слугу моего наглый человек в палки ставил, но о том скорблю, что имела слугу, который мало что допустить сечь себя способен объявился, но еще, будучи высечен, жалобится и бесстыдство спины своей европейскому потомству и гиштории показывать умышляет».

Остаток жизни Роман Федотович провел, спиваясь с круга, то в волкоярской глуши, то – по смерти императрицы Екатерины – на Москве, где он и умер в эпоху Отечественной войны – как почти все Радунские – от апоплексического удара. Он прожил семьдесят лет, не в обычай своего недолговечного рода. Из детей его – старший сын, слабоумный Исидор, пошел в монахи, а младший, князь Юрий Романович, пошумел-таки на своем веку. Странный и негодный был это человек: враг всем и самому себе. Храбрый офицер 1805 года, полковой командир в Отечественную войну, молодым генералом возвратился он из парижского похода, и как будто обещал воскресить былую славу и удачу князей Радунских. Но, кокетничая с дворцовыми конституционалистами, как-то прозевал момент, когда ветер повернул на реакцию, и уже очень не полюбился Аракчееву, а тот, если кого не любил, то бесповоротно: навсегда и с плотным прижимом. Проиграв военную карьеру, Юрий со злости уцарился во фронду. И вот он – последовательно – мистик, масон, либерал, как-то сбоку вертится около истории в Семеновском полку, в переписке с Николаем Тургеневым, товарищ и приятель заговорщиков Южной армии. В деле 14 декабря Юрий Радунский ухитрился поставить себя так двусмысленно, что затем Николай I держал его до конца дней вдали от дворца, не пуская ближе Москвы, и в прозрачной опале, как вероятного, хотя и не уличенного, бунтовщика, а декабристы, наоборот, подозревали в нем правительственного шпиона. И обе стороны сходились в единодушном согласии, что князь Юрий Радунский самый тяжелый и опасный человек во всей русской знати: и продаст, и предаст, и оскорбит, и унижит – даже не ради какой-либо выгоды, а просто из удовольствия предать

¹ В полном составе (*лат.*).

и унижить, по своей волчьей, злобной душонке. Знаменитый декабрист Лунин дружил когда-то, в Варшаве, с князем Юрием – и, не выдержав, расстался:

– Нехорошо с тобою, Юшка: жутко! – сказал он. – Так ты зол и коварен, что и не разберешь, чего в тебе больше: зверя или дьявола. Если мы буцем вместе, одному из нас несдобровать. Разойдемся-ка лучше по добру по здоровью, пока у обоих целы головы.

Такой лестной аттестации удостоился князь от богатыря неизбывной силы, который впоследствии, в Сибири, полагал для себя высшим удовольствием одиноко бродить по девственным чащам кедровых лесов, в надежде помериться либо силою с матерым медведем, либо удастью и – с беглым живорезом-каторжником.

А переводчик Расина, остряк, вольтерьянец и – к старости, как водится, – ханжа, Катенин, говорил другое:

– Князь Юрий опоздал родиться. Ему бы жить в Италии при Цезаре Борджиа или во Франции при Карле IX. Он клянется, чтобы изменять, и человек, кроме его самого, не дороже для него ореховой скорлупки. Если он улыбается, значит, он опозорил порядочное семейство, поссорил двух друзей, написал анонимное письмо мужу о жене или жене о муже, сделал ловкий донос и сам остался в стороне, словом, отравил кому-нибудь существование. А, может быть, и впрямь отравил кого-нибудь. Если этот человек когда-нибудь заплачет; из глаз его польется чистейшая aqua tofana².

В князе Александре Юрьевиче Радунском – предпоследнем представителе рода, доживавшем в конце сороковых и в первых пятидесятых годах свой сумасбродный век в вотчине на Унже, – как будто соединились и вспыхнули последним зловещим пламенем догорающего пожара все хорошие и дурные качества его предков.

Странны и печальны были его отношения к отцу. Князь Юрий женился очень молодым, в глухой провинции, на какой-то казанской или даже касимовской княжне полутатарского происхождения. Брак был неравный и, по всей вероятности, для Радунского, не охотный, но вынужденный, потому что, с точки зрения карьерной, совсем бесполезный и глупый, а с иных точек зрения князь Юрий на свет смотреть не умел. Капиталов больших татарская княжна за собою не принесла, – только степная родня, из-за Моршанска, пригнала табун чудеснейших коней. Их кровь, хоть и выродилась в северном лесу, до сих пор сказывается: верст на сто вокруг Волкояра крестьянские коньки не похожи на обычных крысоподобных кляч, и если мужик в средствах малость подкормить лошадь, то уже чувствуется в ней нечто от степной сивки-бурки, вещи каурки – благородная порода, хоть и заезженная в возах по ухабам, задерганная и захлестанная под кнутом. Что касается соблазнов женской привлекательности, то и в этом отношении полуазиатская супруга князя Юрия также не являла особо выдающихся красот и – кроме обычных восточных прелестей, то есть восьмипудовой тучности при маленьком росте, страсти белиться, покуда лицо не превратится в неподвижную маску, привычки курить по целым дням, не выпуская трубки изо рта, и готовности отдаваться когда и где угодно и решительно всякому мужчине, который охоч взять, – никакими другими чарами не обладала. Напротив – была ленива до того, что по неделям не давалась девкам волосы расчесать, неопрятнейшая неумойка и превздорного нрава. С первых же дней брака князь Юрий возненавидел жену пуще, чем собака кошку, и до конца дней ее – татарская княжна оказалась тоже под руку мужу, зверком с острыми когтями и зубами! – грызся с нею не на живот, а на смерть. Супружеская жизнь их вся, изо дня в день и из года в год, проходила в том, что они – без любви, без ревности, без взаимоуважения, а просто по обоюдной злобе и страсти к скандалу-ловили друг друга на месте любовных преступлений. Причем – будто бы – сколь ни прыток был по этой части князь Юрий, но за супругою не успевал, ибо та в увлечениях своих бывала, по нужде,

² Букв.: туфовая вода (лат.).

и демократкою: настолько, что при случае, за неимением лучшего выбора, счастливила свою любовью даже состоящих при трубках подростков-казачков.

Однажды летом, в Волкояре, княгиня, покушав за ужином грибков, в ночь заболела и преставилась в одночасье. Предание уверяет, якобы в предсмертных муках, свиваясь клубком в лютых корчах, вопила она на трех языках одно и тоже по-русски, по-французски и по-татарски:

– Окормил, злодей, окормил!

Супруг же, стоя около смертного одра, строил умирающей бесовские рожи и приговаривал:

– Ан, врешь! Сама хотела, да не успела... докажи! Врешь! Сама хотела, да не успела... докажи!

Похоронив жену, князь Юрий принялся воевать со своим единственным сыном, князем Александром. Отношения создались прямо-таки чудовищные. Полковник Белевцов, почтенный человек из последних московских масонов, приятель князя Юрия, еще в александровскую эпоху, по первым мистическим кружкам, попробовал было, на правах старой дружбы, стать примирителем между отцом и сыном.

– За что ты гонишь Александра? – уговаривал он старика. – За что ожесточаешь его характер и лишаешь его главной опоры к правильной жизни – уважения к родителю и преемственной семейной любви?

Князь Юрий оскалился на приятеля, как черт какой-нибудь, и обругался скверным словом:

– За то, что вы...к.

– Опомнись, Юрий! Что за мерзость? Какие основания ты имеешь утверждать подобную клевету?

– Мать шлюха была!

– О покойной княгине не могу судить, так как не имел удовольствия знать ее. Но общее мнение таково, что ты сам же развратил ее праздностью и примерами твоего собственного поведения. А что Александр есть подлинно твой сын, то вся его фигура обличает. Ведь он – твой живой портрет. Когда вы вместе в одном обществе находитесь, вас только снега твоих седин и розы его юности различают.

Князь Юрий нетерпеливо оборвал:

– Да почему ты знаешь? Может быть, именно это-то мне в нем и противно?

– Не понимаю.

– Он – изверг! смещение естества! Разве легко мне видеть: рожа – моя, а сердце – татарское?

– Может ли сын ответствовать пред отцом за нацию своей матери? Не его воля была от татарки родиться, но твоя – татарку в супружество взять.

Но князь Юрий топал ногами и вопил:

– Она тварь была! Ведьма! Проклятая татарская ведьма! Если бы при царе Алексее Михайловиче, ее бы надо было в срубе сжечь! К ней огненный змей летал! Он мою форму украл! Змеиное отродье: форма моя, а душа змеиная...

Лицо старика багровело, шея напрягалась жилами, руки тряслись и прыгали пальцами в воздухе, не управляя движениями, синяя губы вскипели слюною: вот-вот хватит паралич.

Посмотрел Белевцов, отступился.

– Совершенно ты рехнулся, князь Юрий. И впрямь время тебя в опеку взять. Нехорошо, когда на чердаке так нездорово. С чердаков пожары начинаются. Уже зазорным сказкам веру даешь, кои ныне и деревенская баба, которая поумнее, повторять стыдится.

– А ты в Бога не веришь! Над Богородицей смеешься! «Орлеанскую посельку», поганец, наизусть читаешь! Молодого вертопраха и афея Сашки Пушкина кощунственные стихи в тетрадь переписал и тайшь! Я на тебя митрополиту донесу! Ты церковного покаяния достоин!

Я шефу жандармов напишу! Это все германская тлетворная философия действует и французская ересь!

Плюнул Белевцов. Разлетелась врозь чуть не сорокалетняя дружба.

В конце двадцатых годов князя Александра – блестящего гвардейского офицера – выслали из Петербурга за крупный скандал, устроенный им в компании с прославленным Булгаковым. Что именно они натворили, – забылось. Не то похитили воспитанницу из театрального училища, пользовавшуюся чьим-то высоким покровительством, не то подвесили к фонарю, за фалды мундира, частного пристава. Булгаков как любимец великого князя Михаила Павловича уцелел, а Радунский улетел на Кавказ. Одни говорили, будто Радунский сам напросился на беду, чтобы вырваться из парадно бездействующей гвардии на театр кавказских битв, куда тянули его честолюбие и страсть к сильным ощущениям; он мечтал стать военной знаменитостью, как Цицианов, Ермолов, Котляревский. Другие уверяли, что все это – выдумки: молодой человек просто пошалил, как шалют все молодые люди; любящий же родитель обрадовался случаю сбыть с рук ненавистного сына и не только не попросил, кого следует, о пощаде сосланному, но еще сам раздувал в мнении властей и общества вину его из мухи в слона. Как бы то ни было, отец и сын и расстались, и остались злейшими врагами. Лет сорок спустя, князь Дмитрий Александрович Радунский – сын князя Александра и внук Юрия – нашел переписку отца и деда и ужаснулся их взаимной ненависти, доходившей до совсем одичалого озлобления. Кажется, со времен Ивана Васильевича Грозного и князя Курбского два человека не переписывались между собою с таким страстным усердием, с такою лютою свирепостью, с таким пламенным вдохновением оскорблений, с таким многоречивым смакованием взаимных обид. Сын писал:

С особенным удовольствием узнал я, драгоценный батюшка, что государь император всемиловитейше воспротивился вашему любезному намерению отдать все имущество, как движимое, так и недвижимое, на никауда негодные, хотя и мнящие себя благотворительными учреждения и тем лишит куска хлеба меня, вашего, к удовольствию моему, единственного сына и наследника. А вместе с тем спешу изъявить вам искреннейшие поздравления по поводу заботливости о вашей немощи и годах со стороны родственников ваших, кои, во избежание излишнего для вас утомления делами, собираются хлопотать о наложении на имущество ваше благодетельной опеки, в чем сочувствую и душевно благодарствую. Обо мне, конечно, приятно будет вам услышать, что я жив, совершенно здоров, и, сверх напутственных ожиданий ваших, кавказская лихорадка и пули горцев меня милуют.

Отец, в язвительных ответах, подписывался: «Твердо намеревающийся пережить тебя, негодяя», и пугал сына намерением вторично жениться, а все состояние отдать детям от второго брака. И женился бы, да, на счастье князя Александра, обуялся боярскую спесью – все искал ровни и, когда наконец выбрал невесту, она оказалась в слишком близком родстве – двоюродная племянница. Потребовалось синодское разрешение, и дело пошло гулять по секретарям консисторий да митрополичьим племянникам, а эти господа хлебных хлопот из рук скоро не выпускают. Тянули да тянули волокиту, ан, тем временем, князь Юрий, в один угрюмый волкоярский день, получил, вместо брачного венца, смертный венчик на лоб.

Кавказский наместник, полудержавный князь М. С. Воронцов принял в молодом Радунском участие и дал ему выслужиться под командою известного Граббе, впоследствии героя злополучной Даргинской экспедиции. Вскоре князь зарекомендовал себя с самой лестной стороны, как храбрый, умный, распорядительный офицер, – товарищ знаменитого «кавказского Мюрата», Засса, во всех его воинственных авантюрах. Ему предстояла блестящая карьера. Вел он себя довольно скромно, только играл бешено – и, ходили слухи, будто не совсем чисто. Оно неудивительно. Будучи не в силах допечь сына с других сторон, князь Юрий творил ему все-

возможные денежные прижимки. Не даром же, когда вышел в свет «Скупой рыцарь» Пушкина, в петербургском свете хором утверждали, что Барон списан с Юрия, а Альберт – с Александра Радунских. Если бы полковник Белевцов не пригрозил старику клятвенно, что доведет его маньяческое скряжничество до ведома государя, то дряхлеющий ненавистник с особым наслаждением оставил бы наследника своего вовсе без всяких средств. В то время играть наверняка не считалось в дворянстве делом предосудительным. Шулер лишился чести, только когда попадался с поличным, а покуда не пойман, не вор, и быть молодцу не укор. Знаменитый Толстой-«Американец», тот самый, который «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист», метал банк.

– Граф! Вы передернули! – крикнул один из понтеров.

– Знаю, – возразил Толстой, – но терпеть не могу, когда мне об этом говорят!

И швырнул карты в лицо понтера.

Многие годы князь Александр существовал исключительно игрою и долгами под будущее родительское наследство, платя столь чудовищные проценты, что даже сами ростовщики совестились признаваться. Однако игроком по натуре он не был. Настолько, что по смерти отца – словно отрезало: никогда уже не брал карт в руки иначе, как для домашней коммерческой игры. Тогда обнаружилось, что и военный он не по призванию, а только по неволе. Едва свалился князь Юрий от апоплексического удара, наследник огромных денег и имений запросился в отставку, оправдываясь необходимостью устроить широкие, но расшатанные фамильные дела. Не удалось. Император Николай, который «холодно благоволил» к Радунскому-сыну, – хоть и сослал его на Кавказ, но ведь это в то время почиталось острасткою, а не опалюю, – благоволил именно потому, что не любил и подозревал Радунского-отца, – отверг отставку и выразил неудовольствие. Нечего делать, князь Александр остался в мундире, но подставлять лоб свой под черкесские пули долее не пожелал и, не без больших затрат и хлопот для себя, перевелся в Елисаветград – в николаевские времена, чуть не столичный город русского военного мира. Здесь-то вот Радунский разошелся уже во всю и впервые показал себя в полную величину, каков он, голубчик! В качестве нового человека, да еще кавказского героя, он сперва очаровал местное общество. О таинственной истории его кавказской ссылки, о трагической вражде с отцом, о львиной храбрости, возвратившей ему чин и давшей крест, ходили самые романтические слухи. Дамы, напитанные Марлинским, бредили князем: он казался им модным в то время «сыном судьбы» – Аммалат-Бекон, Мулла-Нуром. Всех красивей, всех богаче, самый дерзкий, самый пьяный из всего офицерства, самый остроумный и вкрадчиво ласковый, когда того хотел, – он царил над местным обществом. Не хватало лишь Лепорелло, чтобы подсчитывать за новейшим Дон-Жуаном его победы. Князю нравилась репутация рокового человека, и он делал тысячи глупостей, чтобы поддержать ее. Тип Печорина тогда уже народился; щегольство бессердечием напоказ входило в моду; а у князя Александра и не напоказ было его достаточно. Он губил женские репутации с таким же равнодушием, как застрелил однажды на всем скаку свою любимую лошадь за то, что та шарахнулась от барьера...

На Кавказе Радунский был хорошо знаком и с Бестужевым, который был много старше его, и с Лермонтовым, который был значительно моложе. Впоследствии, когда легенды о нем еще живы были в Елисаветграде, а уже вышел в свет «Герой нашего времени», местное общество, в особенности дамы, и верить не хотело, чтобы Печорин был списан не с князя Александра Радунского. Но в действительности прослыть за оригинал Печорина князь Александр мог только в невзыскательной провинции. Кавказ и захоластная полковая служба не прошли даром бывшему льву столичного света. Он огрубел, обурбонился и, в мрачном фатовстве своем, был бы достаточно пошл и смешон, если бы не таил в себе, под спудом, опасного татарина и-порою – начистоту-дикого зверя.

– Мой отец, – говорил он приятелям за зверским пуншем, кутаясь в огненно-желтый бухарский халат, в облаках благовоннейшего табачного дыма, как адский дух какой-нибудь,

освещаясь тлением пыхающей трубки, – мой отец не хотел признавать меня сыном. Он верил, что я порождение демона, могучего и страшного огненного змея. Сожалею, что басня, и рад был бы, если бы это было так. За исключением выгод по состоянию, совсем не лестно чувствовать в своих жилах кровь такого господинчика, каков был мой покойный родитель, князь Юрий. Мне чужда мелкая злоба его человеческой низости. Я могу быть преступен и развратен, но я – наследник великой и грозной стихийной души, сотканной из мучительного огня. На дне души моей клокочут, как смолы ада, страсти, недоступные пониманию обыкновенных смертных. Слыхали вы «Роберта-Дьявола»? Увы! Вот мой портрет.

И – красивый, мрачный, с роковым взором, взятым напрокат у героев Байрона, – князь Александр, хмурясь, ерошил волосы, как актер Голланд, знаменитый в роли Роберта.

Особенно радушно князь был принят у богатого местного помещика-овцевода Тригонного. В одну из дочерей последнего, Анну, князь влюбился, понравился девушке, сделал предложение и получил согласие.

Свадьба была объявлена; товарищи потребовали от князя мальчишника. Друзей среди товарищей-офицеров у князя не было, но приятелей и собутыльников – весь полк. Ближайшим считался корнет Розанчук-Ховальский, малый добродушный и недалекий, за неимением других достоинств весь ушедший в ухарское щегольство выпивкой и буйством, – один из последних носителей традиций «Бурцева, ёры-забияки». Князь забавлялся Розанчуком, но Розанчук к нему привязался искренно, наивно видя в нем идеал столичного гвардейского тона, по которому безнадежно вздыхал он – темный провинциальный армеец. Он подражал Радунскому в манерах, причёске, разговоре, повторял его остроты, старался перенять даже звук его голоса, – и порою смешил князя, порою злил его до грубостей: ведь надоест же видеть вечно бок о бок с собою свою собственную карикатуру! В компании с Розанчуком этим Радунский проделывал штуки невообразимые. Однажды они как ни в чем не бывало явились, этак уже за полночь, на бал в совершенно незнакомый им, весьма вельможный магнатский дом. Вошли. Всеобщее недоумение. Князь ведет Розанчука прямо к прекрасной хозяйке дома.

– Позвольте представить вам моего друга и товарища, корнета Розанчука-Ховальского.

Дама вспыхнула.

– Милостивый государь! Прежде, чем представлять других, вам самому надо быть мне представленным.

– Совсем не надо, – успокоительно возразил князь. – Я ведь вашего знакомства не ищу и сейчас же уеду домой. А Розанчук в вас влюблен, и ему хочется остаться у вас на балу. Прошу любить и жаловать. Не судите его по наружности: отличный малый и совсем не так глуп, как кажется, – гораздо глупее!

На помощь растерявшейся даме прибежал из карточной комнаты муж ее, шестидесятилетний старичок в серебряных сединах. Радунский приятно улыбнулся ему навстречу.

– Это ваш супруг? Какой беленький!

И погладил старца по голове. Тот от изумления и негодования обратился в столб соляной, а офицеры, тем временем, вышли. В дверях Радунский обернулся, оглядел озадаченное общество в стеклышко и пожал плечами.

– Какая шваль, однако! Розанчук! Ты положительно был бы здесь единственным порядочным человеком... *Chère dame!*³ Зачем вы принимаете у себя такую мелюзгу?

Захохотали, – прыгнули в седла, – ускакали.

Дело было в польском доме... после 1831 года напрасно было и жаловаться!

Мальчишник удался на славу. Шел пир горой.

– Эх, князь, – сказал Розанчук, когда все уже порядком подвыпили, – жаль мне тебя! Хороший ты парень: выпить ли, протанцевать ли мазурку, бабенку ли увезти, оттрепать ли

³ «Милая госпожа» (*фр.*).

жида за пейсы, выкупать ли штафирку в дегтярной бочке – на все тебя взять. Для товарищества ты – червонное золото: первый человек, душа общества!.. А теперь – ау, брат! Шабаш тебе: нашего полку убыло. Женишься – переменишься. Отрезанный ломоть!

Князь был пьян. Вино действовало на него скверно. Совершенно трезвый на вид, он помрачался разумом – становился дерзок, жесток, начинал хвастать и лгать без всякого смысла. Он смерил Розанчука злыми глазами с головы до ног и возразил ледяным тоном:

– А кто тебе сказал, что я женюсь?

– Как кто?

Князь, зевая, продолжал:

– Неужели ты, мой умница, мог такой бессмыслице поверить? Я – жених?! Ну, погляди, Розанчук: похоже ли это на меня?

Розанчук вытаращил глаза.

– Однако, позволь, князь... Твой мальчишник.

– Чепуха! Мальчишник был, а девичника не будет.

– То есть... как же это понимать?

– А вот, как сказано, так и понимай.

Розанчук совсем опешил.

– Черт знает, что ты плетешь, князенька.

Офицерство стало прислушиваться. Радунский заметил, и его разобрала еще большая охота ломаться.

– Господа, – небрежно продолжал князь, – извините меня за мистификацию. Я пригласил вас, думая проститься с холостой жизнью, но волею судеб мой мальчишник обратился в простую дружескую пирушку. Я раздумал жениться на Анне Тригонной.

Всеобщий ропот встретил это неожиданное заявление.

– Это странно. Объясните князь! – возвысил голос седоусый ротмистр Даннеброг. – Мы, офицерство, все считаем Анну Тригонную за хорошую девушку; именем и сердцем ее играть постыдно.

Радунский не терпел противоречий. Кровь бросилась ему в голову. Наследственное упрямство стало на дыбы.

– Я не считаю себя обязанным кому бы то ни было отчетом в своих поступках! – гордо возразил князь, – но так и быть... по товариществу... объяснюсь. Видите ли, господа, мой взгляд таков: если женщина нравится, позволительно всякое средство, чтобы добиться обладания ею. Анне я принужден был пообещать жениться на ней... Теперь я нахожу, что она вовсе не так интересна, как кажется на первый взгляд, и... беру назад свое слово... Представьте себе: у нее под левою грудью – родимое пятно, – совершенный паук, и притом мохнатый.

– Князь, полно вам! – раздался голоса, – такие слова даже в шутку нехорошо говорить офицеру...

– Князенька, душенька! – уговаривал Радунского Розанчук, – опамятуйся, не мели пустого... Ну, залил лишнее за галстук, – бывает; язык болтает – голова не знает...

Но князю уже «стукнуло в голову». Зачем и как минуту тому назад сорвалось у него с хмельного языка глупое хвастовство небывальщиною, – он сам не знал. Но теперь на него «нашел бычок». Он молчал и вызывающим взглядом смотрел на товарищей. Наступила минута тяжелого затишья. Старик Даннеброг встал из-за стола, взял фуражку и саблю и вышел из квартиры Радунского, не поклонившись хозяину.

Ротмистр трижды на своем веку был разжалован за дела чести и трижды выслуживался; он был авторитетом рыцарства в офицерском кругу. Гости неудачного мальчишника поднялись за ним, как пчелиный рой за маткою. Даже Розанчук ушел.

Проспавшись, князь припомнил вчерашнее и понял, что его фарс совсем неожиданно перешел в драму. Он легко мог бы извиниться, свалить все дело на вино, как указывал ему выход Розанчук. Но...

– У князей Радунских – одно слово! – говорил он. – Радунские ничего не боятся и никогда не лгут. Сказал, что не хочу жениться, и не женюсь.

Несколько дней ждали, что князь опаматуется, но вместо того услышали, что он действительно послал Анне Тригонной категорический отказ от руки ее, притом в форме самой грубой, вызывающей, безжалостной, так что бедная девушка чуть не умерла с горя, а старик Тригонный бродит сам не свой и, того гляди, его паралич разобьет. Тогда князь получил приглашение на товарищеский суд.

– Я подал в отставку, господа! – было его первым словом. – И так подал, что, уверен, на этот раз государь не захочет удерживать меня на службе. Желаю воспользоваться «вольностью дворянства». А покада представил рапорт о болезни. Еду в отпуск в собственные поместья... по спешным делам...

– Мы уж знаем все это. Прекрасно поступили, – холодно возразил Даннеброг, – полк должен благодарить вас за то, что вы имеете такт снять с себя его честный мундир. Но отставкой история не кончается. Опозоренная вами девушка не имеет защитников, кроме старика-отца, а он – человек дряхлый, хилый, немощный: ему с вами не равняться. Поэтому мы, офицерство...ского полка, берем Анну Тригонную под свое покровительство и приказываем вам... слышите ли, князь? не просим, а приказываем... поправить свою ошибку и взять жену из-под обесчещенного вами крова. Иначе...

– Иначе? – презрительно засмеялся Радунский, бледнея от гнева.

– Мы уже бросили жребий, кому – в случае вашего отказа – стреляться с вами...

Даннеброг указал на смущенного Розанчука.

– Розанчук?! – изумленно воскликнул Радунский. – Но это будет убийство: я пулю на пулю сажаю, а он в десяти шагах делает промахи по бутылке... Хорош ваш выбор. Лучше-то никого не нашлось? Пиши завещание, Розанчук: ты уже покойник!

Розанчук побледнел.

– Убьете меня, – глухо сказал он, – с вами будут драться мои секунданты... убьете их, – вас поставят к барьеру их секунданты... весь полк не перестреляете; найдете и вы свою судьбу.

Даннеброг подтвердил:

– Мы все будем поочередно драться с вами, и суди нас Бог и Государь.

Несмотря на всю свою безумную дерзость, князь потерялся. Он, шатаясь, вышел из заседания суда чести; воротясь домой, избил в кровь своего денщика, переколотил всю посуду и рыдал, как ребенок, от злости.

– Мне приказывать! Радунскому приказывать! – кричал он, то бегая из угла в угол по своей квартире, то падая на кровать и кусая подушки, чтобы заглушить истерические рыдания. О повинении приговору товарищей он, разумеется, не думал. От одной мысли о том волосы вставали дыбом и кровавые мальчики прыгали в глазах! Скорее он, в самом деле, вышел бы на дуэль со всем офицерством...ского полка, а, пожалуй, хоть и всего Елисаветграда. Умереть под товарищескими пулями казалось ему легче, чем покориться. Но ему хотелось сначала отомстить за свое унижение и отомстить не как-нибудь, но жестоко, глумливо, коварно. Мало, что отомстить, – еще и насмеяться. Как? – он долго ломал себе голову, и, наконец, разнузданное воображение подсказало ему штуку, которою он, действительно, одурачил своих недругов, но на которую, двумя-тремя днями раньше, вероятно, он и сам себя не считал способным. Тем более, что была она из разряда тех остроумных мщений, о которых русский народ сложил выразительную пословицу:

– Наказал мужик бабу, – в солдаты пошел!

II

Однажды вечером Радунский сел в коляску и отправился к Тригонным – наперед осведомившись наверное, что их нет в городе.

– Господ дома нет! – объявил ему швейцар, глядя с не меньшим испугом и изумлением, как если бы пред ним вырос из земли покойник с того света: отказ князя от барышни и последовавший скандал был притчею во языцех всего города, и уж, разумеется, первая довелась о нем прислуга.

– Они уехали на богомолье в Виноградскую пустынь, вот уже три дня.

– А Матрена Даниловна дома? – небрежно спросил князь.

– Матрена Даниловна дома.

Матрена Даниловна Горлицева, бедная дворянка, круглая сирота, проживала у Тригонных из милости как дальняя их родственница и воспитанница. Она была весьма недалеко умом и, несмотря на свою молодость, – ей только что исполнилось двадцать лет, – глядела настоящею Бобелиной: была необычайно высокого роста, редкого здоровья и завидной полноты. Вполне оправдывала собою известную характеристику графа В. А. Соллогуба, что в его время «халатная жизнь помещиков чрезвычайно содействовала скорому утучнению прекрасного пола; дворянки не уступали в весе купчихам». Лицом она была очень недурна: белая, румяная, с добродушными карими глазами, большими и влажными, как у лани, с красивым пухлым ртом. Семейство Тригонных было, по тогдашнему дворянскому времени, очень либеральное и славилось по Херсонской губернии своею редкою гуманностью. Но принимать чужой хлеб не сладко даже из самых ласковых рук, и Матрене Даниловне не совсем-то приятно жилось на свете. При весьма малом уме и небольшом образовании она все-таки имела кое-какой смысл и самолюбие. Между тем Тригонные обратили ее почти что в домашнюю шутиху и дразнили ее по целым дням. Мишенью для острот Матрена Даниловна была очень удобной. Кроме мужского роста и кормилицына дородства, неистощимыми источниками насмешек служили три слабости Матрены Даниловны: обжорство, сонливость и необузданная романтичность воображения. Она ела, спала и представляла весь мир влюбленным в ее красоту; в том и проходила вся ее жизнь. Когда Радунский бывал у Тригонных, он любил шутить над красивой компаньонкой своей невесты и слегка даже заигрывал с нею, по привычке ловеласа, взявшего за правило бить сороку и ворону, – авось, попадешь и на ясного сокола. Матрена Даниловна – наперсница и посредница его отношений к Анне Тригонной, – закупленная, задаренная, обласканная, – понятно, души не чаяла в князе.

Матрена Даниловна вышла, восторженная, но, по обыкновению, с измятым, заспанным лицом. Радунский посмотрел на нее и усмехнулся.

– Вы ли это, ваше сиятельство?!

– Я, как видите.

– Верить ли глазам?!

– Ничего, хоть они у вас и запухли немножко, – верьте.

– Вот радость! Значит, всё были одни людские сплетки: ссоре конец и все пойдет по старому?

Князь пожал плечами.

– Да... я приехал извиниться пред Анной и загладить свою вину... Не застал ее дома, – тем хуже... Есть такая хорошая поговорка: *qui va à la chasse, perd sa place*...⁴

Матрена Даниловна покраснела.

– Ах, какие вещи вы говорите... – нерешительно пробормотала она.

⁴ Кто место свое покидает, тот его теряет (*фр.*).

Князь захохотал:

– Какие вещи я говорю? какие?..

Матрена Даниловна, по лукавым глазам Радунского, вообразила, что он сказал неприличность, и уже строго, заметила:

– Как только у вас язык поворотился... про Анну... она вас так любит... и при мне. Я – девушка...

Он продолжал хохотать.

– Прелесть моя... Матрена Даниловна! Je vous adore!⁵ Вы прелесть!.. Сознайтесь же, однако, что вы ровно ничего не поняли. А? ведь так?

Матрена Даниловна стала пунцовой. На глазах ее навернулись слезы.

– Не поняла-с, – раскаялась она.

– Зачем же вы притворились, будто поняли?

– Стыдно барышне не понимать по-французскому.

– Разумеется, стыдно... Но вы не бойтесь: я вашего стыда никому не расскажу... Ваша тайна умрет в моей груди!

– Покорно вас благодарю, ваше сиятельство.

– Однако как вы хорошо притворяетесь! Бывало, говоришь с Анной по-французски, а вы делаете такое внимательное лицо, будто понимаете каждое слово... Я вас даже остерегался. А – выходит – на самом-то деле, не очень?

– И вовсе даже не понимаю, – сокрушенно шепнула Матрена Даниловна.

– Ну-с, хорошо. По-французски вы – не очень. А дальше как?

– То есть... в каком смысле? – терялась девушка.

– Вы дворянка?

– Как же, ваше сиятельство! Мы, Горлицевы, искони дворяне... столбовые, из-за царя Петра...

– Это прекрасно, что из-за царя Петра. Я сам немножко оттуда... А годков вам сколько, моя прелесть?

– Зачем вам, князь?

– Да так, – знать хочу...

– Что выдумали! Это даже неловко кавалеру спрашивать такое у девушки...

– Вот еще – нам с вами церемониться!.. Мы – старые друзья. Так сколько вам годков-то, сказывайте?

– Ах, какой вы! вот пристали... Ну... двадцать...

– Врете! – бесцеремонно отрезал Радунский.

– Как – вру?!

– Очень обыкновенно врете: как все барышни о годах врут... Верных двадцать семь, если не все тридцать!

Князь нахальничал и дразнил бедную дурочку до тех пор, пока та, в простоте своей, не ударилась в слезы.

– Чем же мне вас уверить? – всхлипывала она, – хотите, я вам покажу свое метрическое свидетельство?

– А у вас есть метрическое свидетельство? Чудесно! На сцену! Давайте его сюда.

Матрена Даниловна повиновалась. Князь прочитал документ.

– Вот и спору конец, – сказал он. – Извините, проспорил: конфеты за мной... да нет... я лучше вам браслет с брильянтами подарю.

Матрена Даниловна расцвела.

⁵ Я вас обожаю! (*фр.*).

– А у вас прекрасный документик, моя прелесть... – продолжал Радунский. – Отчего вы, будучи столь прекрасны и благородны, не говоря уже-величественны, замуж нейдете? Такая великолепная девица, из такого блистательного рода, из-за царя Петра, трех аршин роста, двадцати лет и семи пудов веса, должна сделать отличную партию... княжескую...

– Ах, ваше сиятельство! – вздохнула Матрена Даниловна, садясь на своего обычного романического конька, – где уж мне? Сумела бы быть княгиней не хуже всякой другой, да не родилось еще князя на мою долю... В наше время подобные браки только в сказках бывают.

– Нет, отчего же?... Попадаются дураки... ихнего брата, говорят, не орут, не сеют – сами родятся. Да хотите, – я на вас женюсь? – вдруг вскрикнул Радунский, ударив себя по лбу, точно его осенила внезапная идея.

– Вот вы опять шутите!..

– Какое там шучу?... – Радунский взглянул на улицу, где у подъезда топали его кони. – Серьезно, хотите?

– Полно вам, князь!.. обидно даже-вы жених другой...

– Что – другой? Вы мне нравитесь, я к вам в некотором роде пламенею. Анну для вас можно и побоку... Сама виновата: зачем не сидит дома. Говорят же вам: *qui va à la chasse, perd sa place*.

– Да хоть не конфузьте – переведите, что это за поговорка такая?

– Значит она: кто из дому гуляет, тот свое место теряет.

– Это почему?

– А потому, что кто-нибудь другой возьмет, да на это место и сядет. Вот, например, быть бы княгиней Радунскою Анне, а будете вы.

– Ах, князь, князь! Бог вам судья!

– Ну, если замуж не хотите, так хоть кататься со мной поедете?

– Вдвоем? Это не принято, ваше сиятельство.

– Отчего же нет?

– О нас дурно подумают... Я бедная девушка... моя репутация.

– Репутация – вздор. Репутация – это у меня каурюю пристяжную так зовут. А коренник – скандал. Полно, не упрямитесь!.. Ведь мы не куда-нибудь в дурное место поедем, а именно в пустынь эту... как бишь ее зовут? – к вашим же скучнейшим Тригонным навстречу... Ступайте – одевайтесь. Не то я завтра всему Елисаветграду расскажу, что вы по-французски не разумеете... Стыд-то какой! а?... А если послушаетесь, то... Вам лошади мои нравятся?

– Еще бы не нравились, князь.

– Я вам эту пару серых подарю. Они пять тысяч рублей стоят... Продадите – целый капитал. Сам же и куплю обратно. Одевайтесь же... Мало? Пожалуй, берите и с коляской. Одевайтесь же!..

– Ах, Господи! что это за безумный человек такой?! – лепетала Матрена Даниловна, совсем сбитая с толку, а Радунский, насильно вытолкав ее во внутренние покои, шутливо закричал ей вслед:

– Матрена Даниловна!.. так и быть, и с кучером, только поскорее одевайтесь!

Четверть часа спустя они сели в коляску, а затем – ни князя, ни Матрены Даниловны уже никогда больше не видали в Елисаветграде. А месяц спустя после этого нового скандала, поднявшего на ноги весь город, Даннеброг получил с нарочным следующую почтительно-насмешливую записку:

Покорный приказанию своих бывших товарищей, я, согласно сточным смыслом их красноречивого приговора, *взял себе жену из-под кровя господина Тригонного* и вступил в законный брак с девицею Матреной Даниловной Горлицевой, *с малых лет своих проживавшей под кровом г. Тригонного*, из дома коего она отправилась даже и к венцу.

Готовый к услугам вашим
Кн. Александр Радунский
Село Волкояр

Дорого заплатил князь за минутное наслаждение посмеяться над товарищами. С ним даже не дрались.

– Таких господ не ставят к барьеру! – решил Даннеброг, – их надо или истреблять, как бешеных волков, или – презирать... А ставить на карту свою жизнь против их позорной жизни – слишком много чести!

III

Дикою женитьбою и почти произвольною отставкою служебная карьера Радунского, разумеется, была в прах разбита. Громадных денег и усилий стоило ему шевельнуть своими петербургскими старыми связями, чтобы дело замялось и забылось, чтобы возмездие за его выходку не ограничилось только разбитою карьерою. Старый слабоумный дядя Радунского, князь Исидор, в монашестве Иосаф, сам ездил в Питер из своей глухой орловской пустыньки молить за племянника и, может быть, если бы не уважение к нему, не помогли бы ни деньги, ни связи. Иосаф жил на свете выродком семьи, искупительной жертвой за ее грехи. Кротость и простота этого монаха были истинно евангельские и создали ему заживо репутацию святости – гораздо более основательную, чем многие более громкие репутации этого рода. Сам великий постник, он был чужд аскетической нетерпимости, умел снисходить к слабостям ближнего – и из братии, и между мирянами. С последних он даже за посты не взыскивал строго. В один из своих деловых петербургских наездов Иосаф встретился с знаменитым Фотием, который, с обычной ему грубостью, принялся кричать:

– Ответишь ужо, ответишь Богу за своих чревоугодников! Отолстели они у тебя, сердца их одебелеша. Жрут – ровно бы, прости Господи, псари шереметевские!

– Ваше высокопреподобие, – смиренно возразил наивный Иосаф, – что за беда, если мои иноки и покушают в смак? Зло не от пищи, но от дурного сердца. Вот, – осмелюсь вам доложить для примера, – бес никоша не пьети не ест; а сколько пакости народу творит!..

И все монастырское служение Иосафа проходило в том – как бы этому извинить, того помиловать. Просительский же талант его был необычайно велик: он умел умягчать и укланивать самого неодолимого Филарета Московского и смело шел плакаться и кучиться за «грешников» даже в те суровые дни, когда – по консисторской поговорке – грозный аскет-владыка «одну просфору съедал, да семью попами закусывал». И любили же Иосафа его грешники.

– Простец, я к тебе! – кричал, кружа по шоссе у монастырских стен на разубранной лентами тройке, штрафованный архимандрит Амфилохий. – Открой беглецу святые врата! Чертог твой вижду, Спасе мой! Снимай с меня мое окаянство. Мерзит! Весь в гною бесовском, весь... Омый мя банею молитвенною.

А сам пьян, кучер пьян, лошади – и те, кажется, пьяны, шатаются, в пене от дикого бега. Трагическая натура, да и судьба, досталась Амфилохию. Родственник митрополиту Филарету Амфитеатрову (киевскому), он был честолюбив и обладал всеми правами на честолюбие. Красавец собою, умный, образованный, с блестящим знанием языков, опытный полемист-богослов и красноречивый проповедник, он сам мог рассчитывать на митрополичью карьеру. Но фотиевская эпоха разбила мечты Амфилохия, а самого его загнала в захолустный монастырь, в епархию сердитого и невежественного архиерея, который ненавидел Амфилохия за ученость, почитал его масоном и упек под суд; а по суду Синод, хотя Амфилохия оправдал, но определил ему жить «под началом» в орловском монастырьке, ближнем к пустыньке Иосафа. Жил Амфилохий тихо и мрачно, писал какое-то огромное догматическое сочинение, монах был

строгий и пользовался большим уважением. Но раз или два в год на него находили бесы. Стены монастыря начинали его давить. Он язвил игумена, братию, все монашество, больше же всех – самого себя, зачем он погубил себя под рясою?

– Я бы Сперанским мог быть, – стонал он, крутясь по келье, как лев в клетке, – а вот – не угодно ли? Только вижу черные рясы, только слышу колокол...

После миллиона терзаний Амфилохий исчезал из монастыря и проводил недели две в жестоком загуле. У него была страсть к лошадям, и вот, переодетый купцом, он носился по губернии на бешеных тройках, швырял деньги, выпивая сам и спаивая встречных знакомцев и незнакомцев. Мягкий характер спасал его от скандалов. Хмельной, он не буянил, а только декламировал байронические стихи, насмехаясь над своею судьбою, и – точно хотел умчаться от нее за тридевять земель – мучил коней и ямщиков дикою скачкою. Когда загульный стих спадал, Амфилохий ехал к Иосафу отбывать тягостное покаянное похмелье, а тот водворял уже вытрезвленного грешника в монастырь. Игумен началил Амфилохия – и все входило в обычную колею, до нового загула – как раз, точно на грех, в самые постные дни, когда мирские соблазны и мысли менее всего приличны монаху. Однажды его угораздило прорваться – в пятницу на Страстной неделе! Игумен только руками всплеснул:

– Нашел время!

И, когда Амфилохий отбыл загульный срок, игумен сильно ему пенял:

– Помилуй, отец! Какой же ты после этого выходишь веры?

– Я-то, грешник, веры христианской, православной, – угрюмо возразил Амфилохий, – ну, а вот другой-то... тот, кто в меня посажен и на пакости подбивает, – уж не знаю, какой веры... собачьей что ли, анафема, сатана, чертов сын!

Привычный снисходить к посторонним, Иосаф снизошел и к грехам племянника. Благодаря его вмешательству, за князя Александра вступилась известная ханжа графиня Анна Алексеевна Орлова (та самая «благочестивая жена», о которой Пушкин острит, что она «душою Богу предана, а грешной плотию архимандриту Фотию»). Она повлияла на всесильного Бенкендорфа, а тот сумел доложить царю дело Радунского в таком искусном повороте, что Николай только презрительно поморщился.

– Где же теперь обретается этот сударь? – спросил он. Бенкендорф доложил, что в своем родовом поместье, Костромской губернии, называемом Волкояр.

– Там ему и место.

Бенкендорф, организовавший в то время корпус жандармов, мечтал облагородить это незавидное учреждение, привлекая разных неудачников или неразборчивых карьеристов из громких фамилий. Он намекнул, что не воспользоваться ли Радунским? Но император сухо отверг:

– Не надо мне службы Радунских. Пусть наслаждается тем жребием, который выбрал.

Счастье Александра Юрьевича, что его елисаветградская история разыгралась уже не на глазах князя Юрия Романовича. Иначе злобный старик, конечно, не пожалел бы стараний, чтобы упечь ненавистного сына под царский гнев и – уже бесповоротно – под красную шапку. Князь Юрий умер скоропостижно, после какого-то торжественного соседского обеда, оказавшегося чересчур тяжелым для его старческого желудка. Приехав домой, сел в кресло, заснул, да и не проснулся, прихлопнутый кондрашкою. Впрочем, деревенская молва шептала, будто кондрашка тут не при чем, а просто – горничная девка Маланья, незадолго перед тем за красоту взятая с деревни в девичью, от жениха и семьи, стакнулась с казачком Фомою, у которого, уже в восемнадцать лет, не хватало половины зубов, выбитых княжескою десницею; они пробрались к сонному князю и придушили его подушками. Но, если и впрямь было так, преступники обделали свою работу чисто: следствие не открыло никаких улик против них. Маланья и Фома даже не были оставлены в подозрении и не только не впали в немилость у наследников, но еще попали в любимцы.

– А, впрочем, – шептались соседи, – может быть, именно потому – за подушку-то – и попали. Черт ли их, Радунских, разберет! Их, по человечеству, и судить невозможно: что хорошо в них, что дурно, – во всем, как звери.

Въезд в столицы князю Александру был строжайше запрещен. Даже о выездах своих в другие поместья, если они были за пределами губернии, князь должен был сообщать губернатору, а тот отписывал в Петербург. Слово Николая было крепко, и свое решение казнить князя Александра Радунского им же самим, князем Александром, царь выполнил безуклонно. А! Ты сам бросил службу, пренебрег карьерою, милостями – сделай одолжение. Задыхайся же заживо в лесном гробу, в тридцать лет, от обилия собственных кипучих сил и круглого бездействия, по вольности дворянства. Сам выбрал дуру-жену чуть не из сенных девок, – пусть же она висит у тебя на шее, как семипудовая гиря! Сам сослал себя в Волкояр, – ну и сиди безвыходно в труппах его, дичай, тупей, глупей, опускайся, как черт в болоте.

На первых порах князь Александр Юрьевич чувствовал себя на глухой Унже весьма недурно. В девственном просторе своих лесных владений он зажил самовластным азиатским ханом, деля время между псарнею, конскою охотою и крепостным гаремом. Волкояр, с появлением в нем Радунского, стал предметом трепета для соседей и отчаяния для уездных властей.

Глушь была страшная, леса непроходимые.

– Нас черт три года искал да искалку потерял! – хвалились волкоярцы.

– Наша сторона – потерянная: к нам и Пугач не бывал, и француз не забредал.

– По ту сторону леса – Николай, а по сю, у нас, еще – матушка-царица.

И, действительно, пробравшись через топи лесных проселков, измученный путник попал в условия быта и нравов, о которых давно уже забыла Россия, затянутая девятнадцатым веком в офицерские и чиновничьи мундиры с светлыми пуговицами. Не то что екатерининским веком пахло, но даже веяло нечто, как бы от Алексея Михайловича. Крестьянство, сильное и богатое, жило по старине. Раскол держался крепко и властно. Мир стоял, как стена нерушимая, – включительно до самосудов, которые принимались обычаем паче писаного закона, и даже помещики считались с ними. Земля, деньги, хлеб сливались в общих понятиях и названиях. Когда волкоярец говорил «рубль», это обозначало не монету, но земельную меру – больше десятины. Копейкою звали 250 саженой, а дальше шли «деньга» и «пирог». Меряли мирскою веревкою и мирскою совестью. Делились каждый год и до того доделились, что от межевого хаоса уходил и в чашу, плюнув на обработанные площади, чистить лес кулигами. В дремучих лесах водились медведи и жили разбойники. На Унже разбойничал Фаддеич, на Немде – Ухорез. Дворянство на местах жило мало, а которое жило, было мелкопоместное, бедное и не только необразованное, но часто даже вовсе безграмотное и омужичившееся на тяжелом хозяйстве, без рабочих рук: не в диво были столбовые, которые сами землю пахали. Наивность общественных понятий, правовых представлений, простота грубых нравов и смешение сословий шли так глубоко, что, например, некая помещица, Акулина Х., владелица семи душ, преспокойно вышла за одну из этих душ замуж и, таким образом, оказалась сама у себя крепостною, потому что перед свадьбою побоялась отпустить жениха на волю. Несколько лет спустя она продала свое имение, вместе с людьми, сутяге-соседу, а тот при вводе во владение потребовал, на законнейшем основании, в числе проданных душ, и самое Акулину с детьми. Суд пред плутом этим оказался совершенно бессилен, и только униженные просьбы всего дворянства с губернским предводителем во главе выручили злополучную дуру из кабалы, в которой она застряла. Были дворяне, ходившие по старой вере. Поговорка «где нам, дуракам, чай пить!» для некоторых семейств была совсем не шуткою, ибо многие из «диких бар», в самом деле, не умели еще обращаться с китайской травкою и угощение ею в чужих людях принимали, как мучительнейший экзамен и пытку.

В смиренной, истинно болотной среде этой князь Александр Юрьевич загулял, как журавль на лягушечьем царстве. Магнат-сосед для мелкой дворянской сошки был гораздо более ощу-

тительною силою, чем губернские власти, отрезанные от залесья почти совершенным отсутствием дорог.

– Об Успеньи рожа разбита, а суда у Николы проси! – твердила обывательская мудрость, справедливо намекая, что, покуда не покроют дорог декабрьские снега и не скуют хлипкую землю Никольские морозы, ползти подводу в уезд ли, в губернию ли с жалобою на обидчика по тем путям, на коих черт искалку потерял, – себе дороже. Не то что обыватели, даже попы с требами и земская полиция на убойные дела и мертвые тела месяцами не попадали в иные благословенно-медвежьи углы, отписываясь распутицею и бездорожьем.

Мелкопоместное дробление и чересполосица спутали земельные отношения в уезде страшно. В действительности все было широко, а по праву – все узко, жили на крупном узком захвате, а на бумаге стояло мелкое и спорное. Перепутались владения, а во владениях – господское и крестьянское. Границ и меж не знали, земля и лес считались свободными; где кто вырубил, выжег, вычистил лес, тот тому и был хозяин. Даже духовенство не имело особой земли, но, как и крестьяне, владел каждый причетник там, где зачистил лес дед или отец. Крестьяне, не хуже помещиков, отдавали зачисти и луга в приданое за дочерями. Вдовы с детьми наследовали покосы от мужей. Смешанность прав и общность пользования были настолько широки, что не только крестьянин, но и помещик на Унге широко открывал глаза, когда какой-либо чужак начинал ему доказывать, что рубить чужой лес есть нарушение собственности и преступление:

– Чай, лес-то – Божий дар! Не мы сеяли!

Единственный крупный землевладелец, хозяин настоящих латифундий, князь Александр Юрьевич, находил этот патриархальный хаос весьма приятным, удобным и выгодным. Он знать не хотел никаких размежевок и, благо, к огромной площади его Волкояра тянулись, как к естественному центру своему, дробные земли маленьких помещиков, устроил из их спорной путаницы буквально владетельное герцогство какое-то и верховодил уездом, как хотел. Стать под его высокую и щедрую руку для многих соседей оказывалось гораздо выгоднее, чем вести свое собственное хозяйство, но зато уже надо было молчать и терпеть, если князю приходила фантазия, проскакав охотою, вытоптать чужое поле или хмельник, снять соседский сенокос, загнать, под предлогом потравы, соседское стадо. Впрочем, это были еще шалости. Иногда князь Александр не стеснялся захватывать или, по крайней мере, делал вид, будто захватывает целые пустоши. Приехал к нему однажды мелкопоместный сосед, Андрей Пафнутьевич Хлопонич.

– Что это, ваше сиятельство, вы строить задумали?

– Баню новую, Пафнутьич, баню... А что?

– То-то ваш управляющий прислал вчера в мою рощу мужиков с топорами... ничего, достаточно даже оголили... дубков до сорока.

Князь нахмурился:

– Что ты врешь, Пафнутьич? Какая твоя роща?

– А Синдеевская, ваше сиятельство, которая на взгорье. Князь затопал ногами.

– Свинья! Каналья! С каких пор она твоя? Муфтель! Возьми его за шиворот, сведи в контору, покажи план... Ах ты, глухарь! Синдеевская роща была наша еще по екатерининской размежевке... Деды и прадеды мои ею владели. А ты, лопух...

– Батюшка! Ваше сиятельство! – униженно закланялся Хлопонич. – Не извольте беспокоиться! Разве я спорю? Ваша Синдеевская роща, разумеется, – сам говорю, что ваша. Люди по здешним местам без разума живут: как мое пользование рощею очень давнее, приобвыкли к глупому обычаю, будто бы моя. А ваша роща! Искони ваша!.. И мы ваши, и все наше – ваше...

Нахмуренные брови князя раздвинулись.

– Так-то лучше, – сказал он. – За то, что ты не стал упорствовать против моего слова и с покорностью принял мою волю, оцени срубленный лесок во сколько сам захочешь, а я прикажу Муфтелю, коли оценишь по чистой совести и правой цене, – заплатить тебе вдвое; если же

дорого запросишь, быть тебе, во-первых, от меня битому, во-вторых, требуй тогда денег с меня судом... Ищи ветра в поле!

Раболепствуя и предавшись всецело на княжеский произвол, этот Хлопонич сильно нажился при волкоярском магнате.

Однажды князь, шутки ради, приказал загнать стадо Хлопонича с его собственного луга на свой скотный двор и стал требовать за потраву.

Хлопонич беспрекословно привез деньги. Князь расхохотался:

– Дурак! за что ты платишь?

– За потраву, ваше сиятельство.

– Какая же может быть у меня потрава, если я велел загнать к себе твой собственный скот с твоего собственного луга?

– Помилуйте, ваше сиятельство, как не быть потраве? Ведь ваши пастушонки-то загнали мою скотину по вашей земле... ну, кое помяли, кое пощипали. Я так и понимаю, что вы изволите с меня взыскивать за эту именно потраву, а не за какую-нибудь другую. Смел ли бы мой скот самовольно на ваши лужки забрести?

Шельма был, что называется, трехпробная и, что касается кляуз, юрист тончайший, лютейшего приказного мог в чернильницу загнать. Это именно он, Хлопонич, закрепостил было похолопившуюся дворянку Акулину Х. Штука эта, между прочим, понравилась князю Александру Юрьевичу необыкновенно. Чуть ли не с нее и начался у него фавор Хлопонича. Да еще силою своею богатырскою Хлопонич его покорял. Был маленький, лысый, красный, но телом совсем квадратный и – со спины смотреть, словно встал на задние лапы небольшого роста медведь. Мускулы же у него были такие: засучит левый рукав по плечо, вытянет голую руку, напряжит, а правую рукою возьмет кочергу железную и колотит ею по левой руке, покуда кочерга не согнется. А то – на пирушке – в подпитии на пол ляжет и предлагает:

– Господа дворяне, неуждно ли? Пляшите по мне, сколько кому охотно!..

И плясывали, и – ничего ему, черту лесному! Встанет, отряхнется, выпьет чайный стакан французской водки, – и хоть опять готов за то же. Пить мог столько, что компанию с ним вровень выдерживать умел во всей округе только вдовый гигант-протопоп, настоятель уездного собора. Но никогда никто ни того, ни другого пьяными не видывал, – только краснели, как раки, дымились лысынами и, чем больше наливались, тем умильнее беседовали об «Экклезиасте», книгу коего оба знали наизусть. Оба друга были даже не пьяницы, а какие-то энтузиасты, любовники водки. Спрашивали любопытные Хлопонича:

– Сколько водки вы в день выпиваете?

Задумывался.

– Не знаю-с, – говорит, – не считал. Да, полагаю, и счесть затруднительно. Ибо известно мне одно: закусывать я имею обыкновение, как вам известно, единственно сушеным горохом. Рюмка – и горошинка. Стаканчик – две горошинки. По положению. Так – с утра мне жена горохом оба жилетные кармана полнехоньки насыплет, а к вечеру – особенно в праздник, – глядишь надо и повторить.

Протопоп тоже не считал количества поглощаемой сивухи, но имел другую примету. Дом у него был – старые барские службы, подаренные собору под «поповку», то есть квартиры духовенства, еще князем Романом Федотовичем Радунским, – длинный-предлинный дом, – как фабрика, комнат с десятков, одна за другой. Стояли они почти без мебели, неприветные и пустые, но посреди каждой возвышался круглый стол, на столе – поднос, на подносе – графин, в графине – водка, а подле – одинокая рюмка. Закуска же, то есть черный хлеб и крошево из соленых огурцов, ставились лишь при одном графине – в первом зальце, где протопоп принимал гостей. Отслужив обедню, остальной день протопоп проводил в том, что, заложа руки в карманы подрясника, маршировал насквозь всех комнат взад и вперед по длинному своему дому – приостанавливался у каждого столика и выпивал. Закусывал же, лишь сделав полный

марш туда и обратно. Обычную дневную порцией протопоба было – чтобы графины иссякали впервые к вечерням, а вторично налитые – по ужине, к отходу на сон грядущий. Но нередко выпадали дни, что опустошались и три перемены. При этом, – за исключением первого графина, с закускою, который ставился на произволящего и, благодаря участию в его опустошении каждого приходящего гостя, шел, так сказать, не в счет абонементу, – остальные приходились почти исключительно на долю отца протопоба. Так – изо дня в день! Хлопонич и протопоб были ровесники. Хлопонич умер семидесяти пяти лет, протопоб – восьмидесяти двух.

Смерть Хлопоничу приключилась в конце шестидесяти годов, именно от привычной забавы его: «Кому в охоту? Пляши по мне, господи!..»

Выдавая замуж любимую внучку за сибирского золотопромышленника, разгулялся он на свадьбе и – предложил этот любимый свой опыт новой таежной роденьке. Не сообразил, однако, что у сибиряков сапожищи еще увесистее, чем у дикого костромского дворянства, а дело-то было после сытнейшего и жирнейшего обеда. Главное же: что сходило с рук в сорок и пятьдесят лет, не так-то легко сходит в семьдесят пять. Впервые в жизни заболел Хлопонич, и свалила его хворь в постель. Лечили его очень усердно: преимущественно обкладывая грудь и брюхо – «под вздох» – живыми щенками. Когда не помогло, дошли в прогресс до того, что пригласили врача и даже согласились созвать консилиум. Врачи определили у Хлопонина заворот кишок. В старину против этой болезни знали один способ лечения – механический: давали больному глотать ртуть, уповая с наивностью, что либо тяжесть ее «развернет кишки», – и больной пойдет на поправку, либо ртуть «станет колом» – и больному аминь. В Хлопониче ртуть стала колом. Он сразу почувствовал в себе смерть и потребовал к себе друга своего протопоба.

– Ау, друг любезный, умираю!

– Ну что ж, Андрей Пафнутьевич! Ничего, пожил. За пол-осьма десятка перегнули: хоть кому. Поди, и я скоро вас нагоню старыми ногами.

– Ты, батя, меня не забудь, – поминай!

Приятели были.

– Как можно вас забыть, Андрей Пафнутьевич? Что ни буду пить водочку, то и помяну.

– А на похоронах моих, отец, ты – уж будь ласковый, уважь: от могилки последним уйди. И бутылочку с собою захвати в кармашке. Как останешься один у могилки-то, – помолись за грешную душу новопреставленного раба Божия боярина Андрея, бутылочку открой, сам глотни и мне – в могилку-то свежую тоже – кап, кап, кап!..

Зарыдал протопоб:

– Слушаю, Андрей Пафнутьевич! все исполню, друг ты мой сердечный, единственный. И тебе в могилку – кап, кап, кап!

– И на девятый день тоже, батя!

– И на сороковины!

– По родительским субботам... на Радуницу... не откажи...

– Будь спокоен, Андрей Пафнутьевич, помирай себе с миром! Покуда я жив, лежи – не унывай, голубчик: без водки не останешься. Во все дни поминовения я тебе – кап, кап, кап!..

Схватили Хлопонича последние муки. Столпились у одра молодая жена, дети от трех браков, внучата. Воют. Старший сын нагибается к умирающему: у Андрея Пафнутьевича в глазах просьба и губы дергаются.

– Что прикажете, папенька?

И внял даже не шепот, а как бы ветер дыхания откуда-то из глубочайших недр легких:

– Стаканчик бы, и папирочку закурить...

Смотрит сын на врача:

– Можно?

– Чего нельзя? Всю жизнь было можно, так теперь и подавно!

Выпил Хлопонич водки, папироску ему в губы воткнули, – улыбнулся сладостно, папироска покатилась по подушке – голова свесилась, – икнул – и помер!

Женат был Хлопонич вторым браком на бедной дворяночке из рода Тузовых, женщине редкой красоты. Злые языки толковали благоволение князя к мужу красавицы, конечно, тем, что жена-де княжая метресса. Это было неверно. Авдотья Елпидифоровна Хлопонич была женщина прекраснейшая, верная супруга, добродетельная мать, – прожила жизнь, чистая, как стеклышко, и таковою же в гроб сошла. Много лет спустя, после ее кончины и смерти князя Александра Юрьевича, Хлопонич, уже в третий раз женатый «для хозяйства», богач и сам первая сила в уезде, наивно хвастался, как он в свое время уберег жену от ненасытных очей волкоярского насильника:

– Он, знаете, терпеть не мог женщин, – с позволения вашего сказать, – в интересном положении. Так, дорожа его благодеяниями, но в то же время трепеща его природы, мы с Дунечкою так уж и взяли за правило, чтобы он и не видал ее иначе. Детьми нас Бог, и в самом деле, не обидел, а в праздные годы Дунечка обкладывалась подушками. Чуть, бывало, к нему ли в гости, сами ли завидим из окна с горы, что он к нам жалуется, Дунечка сейчас же бежит в спальню и – подушку на себя навертит. Плачет, бедная, потому что – легкое ли дело молодой женщине, без нужды, портить себя таким безобразием? Да и жарко же до нестерпимости, особенно, если в летнее время. А ничего не поделаешь, потому что с ним, соколиком, только зазевайся!.. А уж что страха мы терпели, чтобы не воззавидовал кто-нибудь со злобы, не открыл бы ему хитростей наших: ведь премстительный был на это – если кто его одурачит!.. со света бы сжил! Однако Бог милостив, обошлось. Так и в могилку сошел, царство ему небесное, не дознавшись. Только посмеивается бывало: «Авдотья Елпидифоровна! объясните ваш секрет: почему вы с Андрюшкою плодитесь, как кролики, а у нас с Матреною – одна девчонка?»

Жену Хлопонич уберег, но зато однажды устроил ему князь Александр скандал, тоже по романической части, и уж куда не лестный и малорадостный.

Справлял Хлопонич именины и дождался чести: пожаловал к нему на обед князь Радунский – дорогим гостем, во всем своем магнатском величии: с псарями, охотниками, песенниками, хором музыкантов. Сам в санях, свита верхами, – царь царем! Вошел – на мужчин глянул орлом, на дам – соколом. За обедом был весел, изрядно пил: ящик шампанского с собою привез, откупорить велел. Вот когда подали деревенское желе с пылающею свечкою внутри и захлопали в честь именинника пробки на бутылках с шипучим, князь вдруг и говорит Андрею Пафнутьевичу:

– Слушай, круглый черт, толстоносый именинник! Не думай, что я от тебя хочу отъехать на одном шампанском. Сделаю тебе для дня ангела подарок, – только сумей отдарить.

Согнулся Хлопонич в три погибели.

– Подавлен, – говорит, – я милостями вашего сиятельства. Что ни придет от вас – благодеяние ли, казнь ли – все должен принять с одинаковою радостью, потому что на небе – Бог, в России – царь, а над нами, ничтожествами, – вы, сиятельнейший князь. Но отдаривать вашему сиятельству – подобной смелости я, маленький человек, не то, что взять на себя, но даже и вообразить не смею, потому что понимаю себя сравнительно с вашим сиятельством не иначе, как песчинкою или маленькою капелькою воды пред солнцем, в небе сияющим.

– Ладно, – усмехнулся князь. – Коли так, я сам выберу. А дар мой тебе будет не малый: владеть тебе, Андрею Хлопоничу, Пафнутьеву сыну, Мышковскими хмельниками отныне и до века, пожизненно и потомственно.

Что было людей за столом, все так хором и ахнули. Мышковские хмельники считались лучшими по уезду: тысячный доход! Сразу князь Радунский Хлопонича в крупные землевладельцы произвел, почти богатым помещиком сделал. Сколько ни был Хлопонич лиса и пройдоха, кремень тертый, привычный быть на возу и под возом, но и его приглушило неожиданным счастьем. Так что – чем бы благодарить, стоит истуканом: глазами хлопает, губами шевелит,

головой кивает, как болван заводной, а речи нету. А князь сидит довольный, лицо красное, стеклышко в глазу, моргает густым усом:

– Что ж, – говорит, – я свое дело сделал. Теперь ты отдаривай, полосатый черт!

Взвыл Хлопонич:

– Ваше сиятельство! Нет моих средств и сил! Одно сказать дерзаю: не имею ни на себе, ни в себе, ни при себе ничего такого, что вам не принадлежало бы. Повелите мне: «Хлопонич! Возьми нож, разрежь себе живот, выпусти кишки», – минуты не промедлю!

– Фу, – отвечает князь, – выдумает же ослина! На что мне твоя падаль? Нет, ты – вот что. Давеча, входя, – видел я, – висела медвежья шуба. Хорошая шуба. Так вот, не угодно ли: ее мне подай!

Захохотали гости: в духе князь, милостивые шутки шутит. У него шубами-то гардеробы ломятся: соболи, бобры, – на что ему медведь Хлопонича? В медведях князь своих выездных лакеев на запятки саней ставит. Но князь повел стальными глазами, крутит ус, – смехи-то и смолкли.

– Чему вы смеетесь? Хочу шубу, – значит, и волокни сюда шубу. На это самое место. Сию минуту. Ну!

Тут уже, конечно, сам Хлопонич опрометью бросился за шубою, а князь тем временем вынул из жилетного кармана свисток серебряный, – свистнул, – и вот, входят в горницу, прямо к столу, как обломы, четверо его псарей.

– Держите, ребята, шубу шире!

Встал, взглянул по женской стороне стола и – пальцем указательным, с брильянтом на нем стотысячным, как молнией сверкнул:

– Возьмите в шубу вот эту барышню и несите ее в сани. Музыка! Играй!

И вышел. А псари понесли за ним, в шубе, – обомлевшую, безгласную, бесчувственную, – молоденькую свояченицу Хлопонина, Ольгу Елпидифоровну, юную красавицу, девушку-снегурушку, с белою косою до пят, и глаза – как васильки.

Сунулся было за ними ошалевший, растерянный Хлопонич.

– Не провожай, Пафнутьич. Мы с тобой квиты. Загляни в контору: Муфтель твое дело оформит.

А музыка во дворе гремит – марш из Спонтиниевой «Весталки».

Все еще думали: шутит, морочит спяну головы пьяным... Нет, положили девушку в сани. Сам сел, ястребом озирается. Вершники ордою вскинулись, бросились, на коней взметались, джигитуют по двору, на воздух стреляют, «ура» кричат. Свист, гиканье, визг... поминай, как звали! Только и видели голубку Ольгу Елпидифоровну! Умчал – и по следу лишь снежные вихри радужными облаками взыграли, да долго еще ветер по морозу доносил медным воем Спонтиниев марш.

Скандал по губернии разразился страшный, хотя Хлопонич, в ужасе за судьбу подаренных хмельников, сам же метался по дворянству, моля не делать шума и не подымать истории, уверяя, будто вся сцена была разыграна по обоюдному согласию похитителя и похищенной, а он не препятствовал потому, что «князь – известный чудак и любит, чтобы было, как в романах». Тем не менее, а, может быть, даже именно потому, что Хлопонич суетился, – уж очень многих брала зависть на хмельники! – губерния смутилась, Петербург аукнулся, власти встрепенулись, жандармский штаб-офицер залюбопытствовал. Предводителю дворянства предложено было спросить от князя Радунского объяснений. К себе вызвать князя предводитель, – к тому же кругом ему обязанный по выборам, – конечно, не решился. Пришлось, кляня судьбу свою, волнуясь и трусая, самому ехать в Волкояр. Радунский принял предводителя с отменной любезностью, а когда генерал, после долгих экивоков, заикнулся, наконец, по какому, собственно говоря, щекотливому делу он приехал, – Александр Юрьевич смерил его превосходительство стальным взглядом и расхохотался.

– Вы любопытствуете знать, на каком основании проживает у меня девица Тузова? Да спросите ее самое, – она недалеко и, слава Богу, живой человек... Эй! Лаврентий! Попроси сюда Ольгу Елпидифоровну.

Вошла белокурая красавица...

– Вообразите, – рассказывал потом предводитель, – волосы как лен, самый чистейший блондин, а глаза – никогда подобных глаз не видывал! – ну вот, словно сукно на жандармском мундире. И вся изумрудами обвешана: серьги, кольцо с фермуаром, кольца... все – изумруды! вот какие!

Ольга Елпидифоровна объяснила очень спокойно и флегматически, что от князя она никаких обид себе не видала, а, напротив, глубочайше благодарна ему за его к ней, сироте, благодеяния; что в доме князя она пребывает в качестве вольнонаемной чтицы при княгине Матрене Даниловне; что, наконец, если князь позволил себе пошутить на именинах Хлопонина немножко вольно, то эту вину она, девица Тузова, ему давно простила и очень сожалеет, что злые люди истолковали случай этот в дурную сторону.

Таким образом, жалобщиков не оказалось, и дело погасло за неимением пострадавшей стороны.

Князь же, провожая предводителя, полумертвого после двухдневного пира, рекомендовал ему барышню Тузову в самых трогательных и ярких выражениях.

– Прекраснейшая девица, ваше превосходительство. Мы с женою бесконечно ею восхищены. Думаем замуж ее выдать. Составит счастье каждого мужчины. Ба! Вот кстати: я слышал, что к нашему губернатору сын-кавалергард приехал в отпуск. Говорят молодчина. Вот бы – женился? а? За приданым не постою.

Предводитель, ваясь в возок под меховые попоны, только рукой махнул.

– Неисправим, хоть брось!

Так и разрешилась мирным путем собравшаяся было гроза, оставив по себе единственный след, – что губернские остряки прозвали Хлопонича – Хмельницким, и эта кличка гналась за ним уже до самой смерти. Ольга Елпидифоровна пользовалась благосклонностью князя года полтора. Когда надоела, Александр Юрьевич сплавил ее – во всех изумрудах и с очень хорошим денежным приданым на Москву, где ее, действительно, превосходно выдали замуж за весьма солидного чиновника по почтовому ведомству. Всего любопытнее, что едва ли похищенная барышня Тузова, равно как и Авдотья Елпидифоровна, жена Хлопонича, не были родными, хотя и внебрачными сестрами князя Александра, так как родительница их была у покойного князя Юрия в несомненном и долгом фаворе. Впоследствии Зинаида, дочь князя от Матрены Даниловны, поражала своим сходством с Ольгой Тузовою, хотя и не была так хороша собою. Знал ли князь об этой возможности, когда увез Ольгу, а Авдотья лишь маскараром беременности спасалась от его донжуанских притязаний? Хлопонин впоследствии уверял, что не знал. Но другой много ближайший к князю человек, верный его управляющий Муфтель, лишь возражал задумчиво:

– Знал ли, не знал ли, – что из того? Не таков был мальчик, чтобы обрывать в узду свою натуру.

Но мало того, что князь сам причудничал и дурил, заходя далеко за пределы, допускаемые законом и добрыми нравами, он имел еще странную страсть – принимать под свою защиту всякий подозрительный народ; стоило только поссориться с земскою полицией, чтобы рассчитывать на поддержку Радунского. Сам он никогда не прибегал к помощи местных властей:

– Я, как сицилианец: за обиду взыщу сам, а судиться за подлость почитаю.

– На что ты нужен? – говорил он местному исправнику, большой-таки и весьма неглупой шельме из разоренных, севших на полицейский пост, чтобы исправить состояние. На что тебя дворянство избрало и царь хлебом кормит?

– Ах, ваше сиятельство, неровен час, пригодимся и мы вам. Маленькая мышка в басне сочинителя господина Крылова перегрызла тенета царя лесов-с...

– Это ты говоришь напрасно. Я тобою не брезгую. Все люди одинаковы, и все – дрянь. Вот – обедать тебя позвал. Сижу с тобою за одним столом, и ничего, не тошнит. Только не вижу надобности ни малейшей в тебе со станowymi твоими, зачем вы существуете в природе.

– Вот-с? А для порядка?

– Суета от вас по уезду, а не порядок. Куроцапы вы.

– Ах, ваше сиятельство! Обидные ваши слова.

– А если обидно, – зачем ты ко мне едешь?

Исправник знает, чем князя взять, – сейчас же шутует:

– Затем-с, что стол французский очень люблю. Хорошо кормите-с. В нашей глуши только и поест сладко, что у вашего сиятельства.

Хлопонин подхихикнет:

– Врет! Все врет, ваше сиятельство! За оброками ездит. Оброк ему у Муфтеля в конторе приготовлен... в пакете... особенный.

– Уж и оброк! Уже и в пакете особенном! Ах, Андрей Пафнутьевич!

– К концу трехлетия в особенности учащать изволит, – дразнит Хлопонич, – на выборы-то без княжой протекции – ну-ка! покажись!

Совсем развеселится князь Александр Юрьевич шляхетскими шутами своими, но свое твердит:

– Куроцапы! Сор вы человеческий! Помелом бы вас!

– Ваше сиятельство! – защищается исправник. – Но ежели, например, на вашей земле найдется мертвое тело?

– Что же? Поп Кузьма отпоет, а Муфтель пошлет рабочих зарыть.

– Без следствия-с?

– А кому от твоего следствия польза? Становому, лекарю да стряпчему. Покойнику все равно, по какой причине ни гнить, потому что мертвым телом хоть забор подпирай, хуже ему не станет, – мужикам же разоренье. В первом году, когда я здесь поселился, стали было пошалаживать бродяги вокруг Волкояра. Голенищев, солдат беглый, да Артем Брусок с товарищами. То клеть сломают, то корову угонят, то бабу обидят. Я выгнал в лес Муфтеля с охотничьей командой – изловили четырех молодчиков. Я и поговорил с ними по душе: вы что же это делаете, черти? Когда вы видели от меня какую-нибудь обиду? Коли вы голодны и холодны, то приходите честь-честью в контору, – там для вас припасено, но самовольничать на моих землях не смей! После этого Муфтель всыпал им каждому по двести лозанов, потом накормил их, водкою напоил, выдал по рублю серебра, и – ступайте на все четыре стороны. Уж как они благодарили меня за науку! И с тех пор как рукой сняло: у соседей шалют, у меня – тихо, потому что русский человек и в разбор умен. Видит, что я ему не враг, и сам меня милует. Вон мой Муфтель долго жил в Сибири, так рассказывал мне, что там умные хозяева из крестьян кладут на ночь за оконницу хлеб – для варнаков. У одного такого хозяина пропала лошадь. Он подстерег какого-то варнака и пожаловался ему на пропажу: вот как ваша братия обижает меня за мои же хлеб-соль. Что же ты думаешь? И лошадь назад привели, и обидчика словили, да, разложивши у костра, кишки ему на кол и повымотали. Знай, мол, сволочь, каторжную совесть, – не обижай своих, не порочь варнацкую честь! Ты один шкодишь, а все за тебя отвечай?! Так-то, господин исправник. Во всей губернии и есть хороший порядок, что у меня в Волкояре. Именно потому, что я вашей братие, чинушкам, у себя хозяйничать не позволяю. Нет большей ненависти, чем народ питает к подьячему семени, к подлой волоките вашей. Стало быть, стоит только не пускать вашего брата на свой порог, – тогда и порядок найдешь, и в уважении будешь, и во всем с мужиком безобидно поладишь... А не поладим – сам сокрушу, к тебе кланяться за помощью не поеду. Мои люди! Я им отец, и барин, и царь, и бог. А ты – которая спица в колеснице?

Брось! Так-то, господин исправник. А к столу прошу. По делам объезжай Волкояр за версту до околицы, а к столу прошу.

В волкоярской конторе, в прихожей, на конике, всегда сидел казачок с мешком медных денег. Всякий просящий милостыню получал монету. Князь сердился, если к вечеру мешок не опорожнялся, и слушать не хотел оправданий, что нищие не приходили...

– Этого не может быть, – говорил он, – нуждающихся в гроше всегда больше на свете, чем грошей. Мальчишка ленился или играл в бабки, вместо того чтобы раздавать милостыню... К лебедям его!

И беднягу запирали на ночь, полунагого, в чулан, где в зимнее время содержались выписные лебеди – летом украшение волкоярских прудов. Чулан был тесный, мальчик мешал огромным птицам; они злились и исхлестывали наказанного крыльями до синяков, да и пощипывали порядком. Ребятишки боялись этого наказания больше, чем розог.

В округе держался слух, – может быть, и ложный, но совершенно определенный и твердый, – что князь Александр Юрьевич не только был знаком лично с знаменитым Фаддеичем, последним мужицким богатырем и «справедливым» разбойником, лесным рыцарем Верхнего Плеса, но даже не раз пировал с ним по притонам его и сам принимал Фаддеича у себя как почетного гостя. Вообще же, если приходилось к слову в беседе, князь отзывался о Фаддеиче с величайшим уважением и похвалой.

– Преполнейший человек был. Чрезвычайно жалею, что его поймали и до смерти задрали в Костроме на кобыле. Если бы десятка два таких сермяжных Дон-Кихотов пустить по России, острастка разным подлецам получилась бы куца надежнейшая, чем от сенаторских ревизий, ныне назначаемых. Сенатор все же чиновник, а всякого чиновника, как бы высоко ни стоял он по табели о рангах, всегда купить можно. Не деньгами, так бабой, не бабой, так протекцией, не протекцией, так страстишкою какою-нибудь – либо жрать горазд, либо пьет, либо картежник, либо собачей, а то коллекции какие-нибудь собирает: картины, табакерки. Ну, а Фаддеича не купишь, врешь, брат, нет! Он, прежде чем за топор-то взялся, может быть, годы вокруг себя на мир озирался, жалел людей, злость жизни видя, да ночи напролет плакал, пред иконами стоя, молясь, чтобы развязал его Бог – буйную силу и гневную волю с робкою совестью помирил бы. Он на разбой-то, бывало, едет, а сам крестится да молитву читает, – сам же и сочинил: «Не дай, – говорит, – пути неправого, непусти греха обидеть вдову, сироту, убогого, но помози свободити насильника от излишков его...»

Большой любимец князя, хотя и вечный с ним спорщик, губернаторский чиновник по особым поручениям, Павел Михайлович Вихров, молодой человек, высланный из столицы за какую-то либеральную поэму или повесть, – возражал Радунскому:

– Почему вам это нравится, князь? Ведь вы же *libre penseur*⁶, в крайнем случае, деист – и до религиозных дисциплин не охотник?

Князь отвечал с надменностью:

– Мало ли от чего могу себя уволить я, князь Радунский! Меня к аристократизму свободной мысли с Дмитрия Донского семнадцать боярских поколений вырабатывали. Между мною и Божеством нет никого, и ничье посредничество неуместно. Мне религии не нужно, коль скоро я сам себе религия. Но, вообще, я люблю видеть людей религиозными. А мужика – в особенности. Вы в наши края, поди, опять – с раскольниками воевать пожаловали?

– Ах, уж и не говорите! – сокрушался, краснея, молодой чиновник. – Такие все гнусные дела поручают. Душа от них разлагается!

– Жаль. У раскольников с религией – куда крепче. По мне – хоть дыре молись, – есть тут у нас секта такая: так дыромолами и называются, – да веруй в нее, держись в ней за мирскую совесть какую-нибудь – и чувствуй, что держишься, и трепещи потерять.

⁶ Вольнодумец (*фр.*).

В числе таинственных людей, принятых князем под свою властную руку, особенно выдавался егерь Михайло – по дворовой кличке Давыдок. Давыдок был верзила лет сорока пяти, с лица – хоть сейчас в разбойничьи есаулы, но души добрейшей и ума недалекого. В Волкояр он пришел откуда-то издалека, с воли. Что за Давыдок осталась в прошлом какая-то черная туча – никто не сомневался. Но какая именно, – никто не знал: во-первых, этого милейшего добряка все любили и не хотели обидеть лишним спросом; а во-вторых, Давыдок ломал подковы, как лучину, и, следовательно, разломать голову назойливого допросчика не составило бы для него большого труда. В княжескую милость Давыдок вошел как отличный стрелок, доставлявший отборную дичь к столу, и чудовищный силач, умудрившийся в борьбе грохнуть оземь даже самого Хлопонича.

Однажды Александру Юрьевичу пришло в голову спросить Давыдка:

– Михайло, секли тебя когда-нибудь?

– Никак нет, ваше сиятельство...

– Как же это, любезный? У меня вся дворня драная, а ты не драный... Им перед тобою обидно, а тебе должно быть конфузно: чем ты лучше других? Ступай, брат, на конюшню!..

Чуть ли не весь Волкояр сбежался к барской усадьбе, когда разнеслась весть, что Михайлу будут сечь, чтобы посмотреть, как «Давыдок будет не даваться». Но Давыдок обманул общие ожидания и позволил выпороть себя на обе корки ни за что, ни про что. А затем, по заведенному в Волкояре обычаю, отправился благодарить князя за науку.

– Ты, по крайней мере, знаешь ли, дурак, за что тебя пороли? – спросил князь.

– Никак нет... не могу знать... А только ежели пороли, стало быть, есть за что! Без вины пороть не будете...

Ответ Давыдка привел князя в восторг.

– Вот это слуга! – сказал он и наградил Михаилу десятью рублями.

С тех пор егерь стал его любимцем. Но в дворне этой поркой сильно возмутились и долго дразнили ею Давыдка.

– Черт, дьявол! как тебе не стыдно? – привязался к нему товарищ-егерь, – диви бы мы... Что ж? уж наше такое дело несчастное – холопское... А ты ведь, сказывают, вольный!..

И вот тут-то случился было грех. При слове «вольный» Давыдок вдруг побагровел, приподнялся с места и с размаха хватил егеря по уху. Беднягу после такого гостинца часа два приводили в чувство и еле-еле привели.

– Очумел ты, сатана? – попрекали Давыдка дворовые, – ни за что его порют, – молчит, товарищ словом обмолвился, – мало-мало не убил.

Давыдок оправдывался:

– А он зачем волею дразнится? Я за волю-то, может быть...

– Что Давыдок?

– Ничего, дурачок, много знать будешь, скоро состаришься.

После этого все в Волкояре порешили окончательно, что у Михайлы Давыдка есть на душе недобрая тайна и не трогать ее – и для него, и для других будет лучше.

Князь не слишком доверял своей избалованной дворне, в которой – он понимал хорошо – как ни щедро осыпал он ее своими милостями, не один человек носил на душе смертную обиду на него и жажду мести, хоть до ножевой расплаты. Однако вдвоем с Давыдком он спокойно уходил в глубь своих лесов, – и между барином и слугою оставались свидетелями только сосны да небо...

Михайло был стрелок замечательный, а местность знал как свои пять пальцев, открывая князю в собственных его владениях уголки, новые даже для Муфтеля – волкоярского сторожила.

– Должно быть ты, Михайло, у лешего на посылках был, – шутил князь.

– Нешто одни лешие в лесу живут? – отшучивался Михайло.

– И разбойники тоже...

– Ништо! – невозмутимо соглашался Михайло, не отвечая ни да ни нет на намек своего господина.

Одну лишь предосторожность соблюдал князь: на лесных тропах Давыдок шел впереди, а Александр Юрьевич сзади, готовый, при первом подозрительном движении егеря, пустить ему в спину пулю. Но с тех пор как князю случилось однажды сорваться с жердочки в болотную трясику и Михайло вытащил его, рискуя сам увязнуть, была оставлена и эта предосторожность. Князь убедился, что слуга его – раб честный и верный.

Раза два или три из-за страсти князя воображать себя каким-то средневековым феодалом-бандитом, атаманом шайки полурабов-полуразбойников, поднималась серьезная переписка. Но, во-первых, князь был богат, закован в золото и недоступен стальному копыю закона. Во-вторых, он был мастер отписываться. Его ответы ходили в списках по всей губернии как образчики местной сатиры – ябеднической, оскорбительной, но ловкой: прицепиться не к чему, выюн-выюном! Пригласит к себе Хлопонича, запрутся вдвоем в кабинет и высидят, ехидствуя и грохоча, какую-нибудь такую бумажку, что, читая, губернатор с правителем канцелярии только губами, белыми от бессильной злости, трясут, а дворянство и обывательство помирают со смеха, хватаясь за сытые животики. Слухи и глумы пускали они по губернии самые злобные и язвительные. Укусила в губернском городе полицеймейстера, человека весьма свирепого нрава, болонка его супруги. Собачка была дорогая, пожалели пристрелить. Полицеймейстер распорядился посадить болонку в клетку – на испытание, не бешеная ли. Князь Александр Юрьевич немедленно выдумал, будто губернатор, в видах справедливости, приказал и полицеймейстеру тоже сидеть в клетке:

– Потому что неизвестно, кто скорее взбесится и от чего: полицеймейстер ли от собачкина укушения или собачка оттого, что полицеймейстера укусила?

Слух этот распространился настолько широко и с такою уверенностью, что в Костроме перед домом полицеймейстера однажды собралась толпа простонародья – смотреть, как бесится полицеймейстер, и – правда ли, что, когда он вовсе взбесится, то губернатору пришла эстафета из Петербурга – вывести его в поле и пристрелить?

В конце концов, на князя перестали обращать внимание или, по крайней мере, сделали вид, что внимания не обращают.

– Все равно, – говорил губернатор, – с этим чертушкой ничего не поделаешь.

– А между тем был этот губернатор не из потворщиков и послабников – к власти своей ревнив, как Отелло, и в самодурстве необуздан, как Тамерлан. Именно с этого сановника, говорят, были списаны А. Ф. Писемским свирепые губернаторы в его романах «Люди сороковых годов» и «Взбаламученное море»...

– Но отчего же именно с чертушкой ничего нельзя поделать? – приставал на первых порах к правителю канцелярии молодой – только что из Петербурга – чиновник особых поручений Вихров, тогда еще не знакомый с князем Радунским, который впоследствии умел-таки его, если не очаровать, то примирить о собою. Вихров был честен, молод, сгорал жаждой деятельности, а дела ему давали все такие скучные да антипатичные... то раскол душишь, то в казенных потравах и порубках разбираться.

– Стало быть, нельзя-с, – улыбался правитель канцелярии: он очень хорошо понимал деловую горячку молодого человека и сочувствовал ей, как воспоминанию о своей еще не очень давней юности. – Их превосходительство дело говорят-с.

Вихров язвил:

– Я еще понимаю, когда мы бессильны тронуть князя Г., графиню Д., сколько они ни изуверствуй над своими крестьянами и соседями, как ни издевайся над нами и законом. Этим господам стоит шепнуть словечко кому надо в Петербурге, и не усидим на местах не только мы с вами, но и наш принципал. Это потворство подлое, но – что же поделаешь? в нашей

матушке России без этого не проживешь. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена». Но к чему же мы, кроме необходимых, делаем еще добровольные подлости? Что за птица князь Радунский? Он в немилости, государь хмурится, когда слышит его фамилию, знакомые и родные от него отреклись, его нигде не принимают, у него нет никакого влияния... И все-таки мы стоим пред ним в полном бессилии, а он своеволит, как киргиз-кайсак, и в ус себе не дует...

– Молодой человек, – серьезно возразил правитель канцелярии, – я вам скажу на это татарскую охотничью поговорку: «Нет острей зубов одинокого волка». Вот вы помянули князя Г. Человек властный и страшный – что говорить! Но, если бы меня послал к нему губернатор с неприятным для него поручением... ну, предположим крайнее: хоть арестовать его, – я поеду, в ус себе не дуя. А к Радунскому – извините: подам рапорт о болезни.

– Что так? – насмеялся Вихров.

– А то, что преданность закону, сознаюсь вам, у меня далеко не превышает чувства самосохранения. Я не Сидрах, не Мисах, не Авденаго, чтобы лезть в пещь огненную, и не Дон-Кихот, чтобы подставлять свою физиономию под крыло ветряной мельницы.

– Но чем же он так запугал всех? что он может сделать? – недоумевал молодой человек.

– Решительно ничем не запугивал, кроме того, что он Радунский, и мы слишком хорошо знаем эту змеиную породу. А сделать... да он все может сделать...

– Не понимаю! Человек потерянный, без связей, без дружбы...

– Именно потому-то и опасен, что ему терять нечего; вам же и мне, а наипаче его превосходительству – есть что терять и даже весьма много-с... Дедушка этого самого Радунского, молодой человек, губернаторов-то плетью драл-с!

– Мало ли что было при царе Горохе.

– И вовсе не при Горохе, а императрица Екатерина правила.

Вихров смеялся.

– Неужели вы думаете, что внучек вышел в дедушку и высечет нашего?

– Ну, высечет не высечет, а... Да нет-с, и высечет! – решительно махнул рукой правитель.

– При нынешнем-то государе? Николай Павлович вздернул бы за такую штуку!

– Очень он смерти боится! Татарская кровь.

– Это любопытно, однако. Романтик какой-то...

– Вот я вам расскажу, откуда мне стала известна эта история о высеченном губернаторе, – тогда и судите, что может сделать эдакий человек. В городе нашем Радунский бывает редко, разве по крайней какой необходимости. Однако как-то раз попал на выборы – хотелось проташить на должность, в исправники что ли, мелкую сошку из своих прихвостней. Он на это предобрый. Ладно. Принимали его, как принца, а он угощал дворянство, как не всякий принц угостит. На предводительском обеде встречается он с *нашим*, и наш на него пофыркивает: помни, дескать, что ты в некотором роде опальный боярин, а я здесь царь и Бог, и всё, начиная с господ дворян, зажато у меня в кулаке. Однако говорит несколько любезных слов; вспоминает, что гостил у покойного князя Юрия в Волкояре, восхищается именем, домом, а в особенности хвалит Венерин грот в саду... А князь перебивает:

– Я этот Венерин грот велел засыпать.

– Какая жалость! зачем же это, князь?

– Становые от него уж очень шарахались, ваше превосходительство. «Не можем, – говорят, – здесь близко стоять, ибо место сие есть свято».

– Не понимаю, князь.

– Существует, ваше превосходительство, такая легенда об этом Венерином гроте, будто на сем самом месте дед мой, князь Роман, наказал розгами на теле современного ему плута-губернатора со всею его челядью. Ввиду такой неприличной легенды, ваше превосходитель-

ство, я, человеколюбиво щадя чувства станowych, распорядился уничтожить грот. А, впрочем, если он вашему превосходительству так нравится, я, пожалуй, прикажу его восстановить.

– Благодарю-с, – говорит *нам*, – сам налился кровью, еще минута и паралич. Мы сидим ни живы, ни мертвы, князь же – как ни в чем не бывало. Так вот-с это какой человек! А вы говорите: не высечет...

Народная молва, с губернаторского слова, так и прославила князя Александра Юрьевича «Чертушкой на Унже». Кличка, однако, не мешала крестьянам чувствовать к князю большое уважение. Помещик из Александра Юрьевича вышел – надо отдать справедливость – хороший и управляющего нашел себе под пару – немца Муфтеля, из отставных гвардейских унтер-офицеров. Этот Муфтель обрусел настолько, что мог бы сказать о себе, как гоголевский Кругель: «Какой уж я немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки». Князь очень любил этого исполнительного крутого служаку и в шутку звал его своим Аракчеевым. Но маленький волкоярский Аракчеев был куда и мягче, и честнее большого Аракчеева грузинского. Князь и Муфтель не били мужика по карману, не разоряли, не вымогали, в нужде давали немедленно помощь на поправку; но оброки Муфтель взыскивал с неумолимою строгостью; барщина была дельная; за добропорядочностью труда следили сурово.

– Если, – говорил князь, – я вижу, что мужик плохо работает на меня, я ему спущу шкуру со спины; если я замечу, что он худой работник на себя, я его переверну и спущу шкуру с брюха.

Словом, барин был грозный, но не жадный и, что в соседских, что в господских отношениях обычного права, довольно справедливый. Особенно нравилось, что он мир уважал и в мирскую волю не мешался, предоставляя крестьянству самоуправляться, как оно знает – к своему лучшему и как от отцов заведено. Мироедам засилья не давал и никогда не отказывал своему мужику в помощи купить рекрутскую квитанцию либо поставить за себя охотника. Его мелкое тиранство и самодурство мало касались села – это оттерпчивала дворян, почти вся пришлая: переселенная из других княжеских поместий либо даже наемная. Князь любил иметь в услужении закабаленную какую-либо безвыходностью вольную голь. Жалованья им не платили, но – живи, сколько хочешь, за сытые кормы, угол и одежду.

– Эти люди надежнее, – говорил князь. – Своего мужика я – хорош ли он, нет ли – все равно, должен терпеть. Драть его за худую службу – не радость. В солдаты сдать – себе убыток. А вольный да голый всегда в страхе: ну прогоню я его, – куда он денется? Волкоярские крестьяне, таким образом, благоденствовали и слыли по округе завидными богачами. И, если б Александр Юрьевич меньше обижал их по бабьей части, пожалуй, его даже любили бы.

IV

В зелени векового волкоярского парка тонул красивый каменный флигель, построенный еще князем Романом для одной из его многочисленных любовниц, которую он увез от мужа, потому что находил ее похожею на Психею, а мужа «и Ферситом коль назвать – Ферситу будет злая клевета и обида». Флигель, по имени Психеи, так и звался: «Псишин павильон». Волкоярская чернь, в мифологическом своем неведении, переделала мудреные слова по понятному для нее созвучию – и стал павильон не Псишин, а Псицын. Впоследствии наследник князя Александра Юрьевича приказал разметать эту постройку до основания. Очень уж грустные воспоминания дарило ему ветхое здание. Здесь провела свою безрадостную жизнь и отдала Богу душу «нечаянная княгиня» Матрена Даниловна. Сверх всякого ожидания, Радунский после своей дикой женитьбы не бросил бедную идиотку на произвол судьбы. Обвенчанная чуть не насильно попом, запуганным настолько, что вряд ли он сам понимал в те страшные минуты, какой именно обряд он совершает, – княгиня после свадьбы безумно влюбилась в своего грозного супруга. Она выказала ему столько слепой и рабской преданности, что даже никогда никого не жалевшему Радунскому стало совестно обижать это убогое существо. Притом

в первое время он сам был не совсем равнодушен к своей молодой, полной здоровья и силы, жене, увлекаясь ею, конечно, по-своему, – грубо и чувственно: только так вообще умел увлекаться и любить суровый «чертушка». Александр Юрьевич счел нужным увековечить свою жену в мраморе и красках: выписал в Волкояр из Петербурга скульптора и живописца, а из Италии – глыбу каррарского мрамора, – и вот фамильную портретную галерею Радунских украсила Леда, а цветник сада – белая Церера, скопированная с монументальных форм Матрены Даниловны. Возвратившись в Петербург, художники – оба с именами – кажется, не столько были рады огромным деньгам, какие заплатил им князь, сколько удовольствию вырваться, наконец, из гнезда «чертушки», откровенно блеснувшего пред ними всеми своими чудесами и безобразиями. Живописец – человек старого века, почтенный и богомольный, хотя и сделал свою карьеру и даже стал знаменитым именно как специалист по женскому телу, которое он вырисовывал столь обстоятельно, что драгоценные картины его потомство сохраняет под зеленым коленкором – даже лишний раз говел по возвращении в Петербург и сам просил священника назначить ему какую-нибудь епитимью:

– Уж очень много греха, батюшка, хватил я в проклятом Волкояре... Кажется, в Содом-Гоморре подобных игр не видно, как его сиятельство забавляться изволят!

Мифологическая позировка стоила Матрене Даниловне немало стыда и слез, но она очень хорошо знала крутой нрав своего супруга, чтобы возражать против его прихоти. Откровенную Леду впоследствии уничтожил сын Радунских, князь Дмитрий Александрович, благоговевший пред памятью своей матери, хотя он никогда ее не видал: Матрена Даниловна умерла именно его родами. Цереру же, по смерти княгини, приказал убрать сам князь Александр, так как между дворнею прошел суеверный слух, будто мраморная княгиня по ночам ходит по саду, стонет и плачет.

Введя Матрену Даниловну в свой дом, Радунский сперва окружил ее истинно-княжеским почетом и от души хохотал, когда бедняжка невольно разыгрывала роль вороны в павлиньих перьях. Но вскоре забава эта прискучила Александру Юрьевичу, и он бесцеремонно перевел беременную жену в садовый флигель, где она и стала жить да поживать одиноко, на странном положении жены – не то в отставке, не то в бессрочном отпуску. Радунскому очень хотелось иметь наследника. В его мрачной, безбожной, но суеверной душе жили самые тяжелые воспоминания об ужасном детстве, прожитом под властью ненавистника-отца. А отцу он не простил и за могилой. Князь Александр Юрьевич знал, как о нем говорят и думают люди, сам лучше всех понимал дикие выходки своего самодурства.

«Я зверь, я чертушка, – мрачно думал он, стоя пред портретом отца, который улыбался ему с полотна своим лицемерным, язвительно-красивым лицом, – но кто меня сделал таким? ты, изверг, ты!..»

Как бы в возмездие за самого себя – потому что самого себя он, чем становился старше, тем откровеннее считал истинным несчастьем и казнью рода Радунских, – князь Александр Юрьевич мечтал создать из своего наследника человека, которого благословляли бы люди, – «ангела мира и кротости». Князь обожал несуществующего сына заранее.

– Воспитаю его чистым, как стеклышко, – говорил он, – он снимет с меня все пятна; он должен сделать для нашей фамилии все, что я был бессилен сделать, по злосчастной натуре моей, подлому воспитанию и ожесточению моего отрочества. Пусть он будет и умен, и образован, и великодушен, – слава роду, слуга отечеству. Мы, проклятые, выбились из истории, пусть же он снова введет нас в историю. Тогда и меня помянут за сына, не злым, но добрым словом – что я родил и воспитал такого, что я не загубил его, как меня загубил мой старик...

Этим заключением неизменно завершались его беседы и размышления о будущем ребенке. Точно мечты князя о сыне-идеале рождались как противовес унылым отголоскам его собственного детства, точно он собирался быть образцовым отцом, потому что собственным горьким опытом узнал, каким отцом быть не следует.

Княгиня обманула ожидания мужа и родила дочь Зинаиду. Гнев князя был ужасен. Появление дочери вместо сына расстроило вконец его мечты. Он был оскорблен до глубины души. Сколько ни было Радунских в родословном древе, у всех были первенцы, а у него – на поди – девчонка! Он не ждал дочери, не хотел ее; он считал ее появление нарушением законов природы и исторической справедливости. И за все это возненавидел ее так же жестоко, как ненавидел его когда-то покойный отец, князь Юрий. Под впечатлением первых поздравлений с дочерью, в первом порыве гнева, князь сделал родильнице страшную сцену, так что она от испуга захворала и, после родильной горячки, едва не потеряла последний остаток своего скудного ума. Наконец, даже тупую, рабскую, полуживотную душу Матрены Даниловны ожесточили безумства и злосердечие Александра Юрьевича. Матрена Даниловна не жаловалась, не плакала, хотя лишь слоновой натуре своей она была обязана тем, что распущенность князя не отправила ее на тот свет. Но с этих пор муж умер для нее: она отдала всю свою привязанность отвергнутой отцом новорожденной, а князю оставила тупую бессловесную покорность – покорность бессильного страха. Года через полтора гнев князя обошелся. Он возвратил княгине свою милость, – слишком поздно, чтобы вернуть себе ее любовь и воскресить ее разбитое сердце. А встречая дочь, только равнодушно произносил:

– Это та самая девчонка, что ли?

Зина росла, не зная отца. Она жила во флигеле с матерью. Князь один-одинехонек коротал дни в большом доме-дворце, превосходном здании XVIII века, начатом стройкою еще при императрице Елизавете лейб-компанцем князем Федотом Радунским по плану и рисункам Растрелли, а dokonченном уже в екатерининское время князем Романом, с поправками и вариантами Баженова.

Дикая и разнузданная жизнь шла во дворце, хотя и жизнь под вечным страхом. Порядок дня шел скачками – как придется, глядя по тому, когда и каков духом встанет с постели князь Александр Юрьевич. Обеденный стол готовили к полдню, а случалось, что князь садился за него едва в сумерки. Обеденная церемония совершалась изо дня в день с большою торжественностью. В старинной холодной столовой накрывали стол на двенадцать приборов, хотя садился за него, если не было гостей, только сам князь и, в очень редких случаях, в виде особой милости, управляющий Волкояром, немец Муфтель. Гости полагалось иметь не больше одиннадцати, чтобы за столом сидело, вместе с хозяином, не свыше двенадцати человек. Если приезжал тринадцатый, ему был – от ворот поворот. За каждым стулом, занятым ли, порожним ли, стояло по лакею – в ливрее и на вытяжку, – лично князю прислуживали две красивые девки, любимые одалиски его крепостного гарема. Перед этими двумя фаворитками гнул спину весь Волкояр, не исключая и Муфтеля. Дело в том, что после обеда князь делался податливым на просьбы, охотнее миловал виноватых, легче принимал неприятные известия; между тем только две избранницы его сердца имели право входить в его покои во время послеобеденного отдыха.

Крупных соседей у волкоярского хана не было. А те, которые были покрупнее, по возможности, избегали бывать у него, храня свое достоинство от насмешек и унижительных выходов князя. Зато в большие праздники, когда положение об одиннадцати гостях отменялось, дворец наполнялся мелкопоместными дворянчиками-просителями и прихлебателями, чающими княжеского угощения и благодеяний. И потешался же князь над этою нищею толпою!

Однажды на Рождество он вышел к обеду сердитый. Подали суп. Князь попробовал и оттолкнул тарелку.

– Эй вы! – сказал он, – какой это суп: скоромный или постный?

– Скоромный, ваше сиятельство, – отозвалось несколько недоумелых голосов.

– А я говорю, что постный.

– Постный, ваше сиятельство, – торопились согласиться голоса.

– А день сегодня какой?

– Вторник, ваше сиятельство... – сказали одни.

– Какой вашему сиятельству угодно, – сказали другие.
– Кто говорил: «вторник»? – громко крикнул князь, – пятница!
– Пятница, ваше сиятельство!
– Значить, суп постный, а день – пятница?
– Точно так, ваше сиятельство.
– Ну а так как я не хочу, чтобы в моем доме потакали поповским предрассудкам и ели по пятницам постное, то и... не жрите вовсе!

Вышел из-за стола и скрылся к себе в кабинет, где его ждал другой обед. Голодные гости разъехались, втихомолку ругаясь.

Решительно никого не уважал и ровнею себе не считал, ни с кем и ни в чем не стеснялся. Созовет гостей со всех волостей и, оказавшись не в духе, не выйдет к ним, вышлет – «быть за хозяина» – Хлопонича либо которого-нибудь из мелкопоместных своих дворянчиков-прихлебателей: этими полушутами-полулакеями, чающими кормов и благодеяний, всегда кишел волкоярский дворец.

Как-то раз князь устроил такую штуку даже на именины свои, 30 августа, когда в Волкояр съехалось все уездное дворянство и многие чины из губернии. Только и чести прибавил, что вместо Хлопонича посадил на председательское место любимца своего, губернаторского чиновника Вихрова и, конечно, не «послал» его, но «попросил». Молодой человек сконфузился было, начал отказываться:

– Помилуйте, князь, среди ваших гостей столько почетных лиц старше меня возрастом и гораздо более заслуженных.

– А черт с ними! – бесцеремонно отрезал князь. – В вас мне нравится именно то, что вы молоды и еще не служили. Когда у вас на шее будет висеть владимирский крест, а может быть, даже протянется через плечо красная лента, – тогда, поверьте, господин Вихров, я уже не попрошу вас быть моим заместителем. В матушке России порядочны только молодые люди, не перевалившие за тридцать лет.

– Но у вас в доме находится маршал наш, губернский предводитель дворянства...

Князь ядовито скривился.

– Достаточно и того, что я каждое трехлетие покрываю его недочеты и тем спасаю шкуру его превосходительства от энергии господ дворян, кои до нее добираются. Что вы, господин Вихров! Уж если мне выбирать из лакеев, то я Муфтеля пошлю, или Лаврентия-дворецкого, или егеря Михаилу Давыдка: они, по крайней мере, честны.

За обедом гости решили все-таки отправить Вихрова к отсутствующему хозяину депутатом, чтобы от имени всего общества чокнулся с именинником шампанским и произнес приличную речь. Вихров застал князя за пикетом с Хлопоничем. Александр Юрьевич очень обрадовался юноше.

– А! приятно, что пожаловали. Что это? Шампанское? Ах, да... тост? Ну, нечего делать, произносите ваш тост.

Выслушал, выпил, кивнул головою.

– Тост к черту... глупости! Очень мне нужен их пьяный тост!.. А с вами мы еще выпьем. Я рад с вами выпить. Люблю пить с умным человеком. Я, господин Вихров, когда-то сам был умный человек. Ваше здоровье!

Пьет и смеется.

– И образованный был. Да. Очень образованный. Байрона в подлинниках читал. В масонской ложе молотком стучал. С Пушкиным в Кишиневе был приятель. И после встречались. Положим, только в штосе играли, но – все-таки... А хорошо он писал стихи, Александр Пушкин:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль... –

Пушкин многое получше этого написал, князь! – почти обиделся Вихров.

Александр Юрьевич внимательно изумился:

– В самом деле? Не знаю... не помню... Возможно!.. забыл... Во всяком случае, очень рад. Он был презабавный, Саша Пушкин... Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга, сел не в свои сани; в свете, между этих новых, жалованных, он был смешненок. Но все-таки жаль, что его французишка Дантес застрелил так глупо, и Мишель Лермонтов прекрасно о том в стихах описал. Из-за бабы!.. Нашел, за что умирать. Я и Наталью Николаевну знал... Ну – что же? Красавица была, но – баба, кругом баба... Бойтесь видеть в бабе человека, господин Вихров! Держитесь мужицкого взгляда, что у бабы, что у кошки, вместо души – пар. Это мрачно, но справедливо.

Он усмехнулся и продолжал:

– Да, да, да... Вот как идут времена и меняются люди, господин Вихров! Был приятель с Пушкиным, а теперь – приятель с Хлопоничем...

Хлопонич так и привскочил на стуле.

– Смею ли я, ваше сиятельство? – шутить изволите...

– Почему же не смеешь? С Пушкиным я в штосе играл – с тобою в пикет играю... только и разницы!

Омрачился, поник головою и повторил:

– Только и раз-ни-цы!

И, с усмешкою, договорил:

– Нехорошо это, господин Вихров, когда человек проживет свою жизнь так, что для него между Пушкиным и Хлопоничем только и разницы остается: с одним играл в штосе, с другим – в пикет... А могло быть и наоборот... Ха-ха-ха! Вот – доживу лет до семидесяти, память ослабеет, начну из ума выживать, – и вовсе различать перестану, который из двух Пушкин, который Хлопонич...

Он долго и зло смеялся, потом ткнул пальцем на стенной портрет князя Юрия:

– А все вот эта красивая рожа виновата! И задумался глубоко.

Вихров думал уже, не беспокоя его хмурой задумчивости, тихонько отойти, как князь окликнул:

– Господин Вихров, вы знаете на память какие-нибудь этого... Пушкина... стихи?

– Я не какие-нибудь, а все стихи Пушкина знаю на память, ваше сиятельство!

– Будьте добры – прочтите мне что-нибудь.

Вихров подумал: как бы не влопаться? Пушкин так обширен: не хватить бы что-нибудь хозяину не в бровь, а в самый глаз? – и, с осторожностью, прочитал сильную, но безобидную «Элегию»:

Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье...

Князь одобрительно кивнул головою и сказал с недоумением:

– Он, однако, в самом деле, умен был – Пушкин? Это глубоко... Пожалуйста, еще!

Вихрова просить не надо было. Красивый и страстный декламатор, он рассыпал перед угрюмым князем весь лучший жемчуг пушкинской лирики. Князь внимательно слушал, покачивая головою и изредка бросая короткие словечки:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.